ИВАН ЗОРИН

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

(Роман-центон)

В интернет-группе встретились люди с разными судьбами. Как им понять друг друга? Как найти общий язык?

СОДЕРЖАНИЕ

Обыкновенная история

Мертвые души

*Дама с собачкой*

Преступление и наказание

*Приглашение на казнь*

Герой нашего времени

*Горе от ума*

Темные аллеи

*Палата № 6*

Три сестры

*Ревизор*

Бесы

*Что делать?*

*Четвертый сон Веры Павловны*

*Кому на Руси жить хорошо*

Очарованный странник

*Во сне ты горько плакал*

*Дом*

*Отцы и дети*

Война и мир

*Бешеные деньги*

Камера обскура

*Судьба человека*

*Солнечный удар*

*Незнакомка*

*Былое и думы*

*На ножах*

*Бедные люди*

*Красный цветок*

ОБЫКНОВЕННАЯ ИСТОРИЯ

Модест Одинаров так и не узнал, кто включил его в интернет-группу. «Верно, начальство», — решил он, получив уведомление по электронной почте и послушно перешел по ссылке. Был вечер, Модесту Одинарову хотелось спать, он вяло просматривал сайт, пробегая глазами комментарии, пока не наткнулся на заставивший его вздрогнуть. «А что думает Модест Одинаров?» — писала некая Ульяна Гроховец. «Или сослуживцы разыгрывают? — скривился Модест Одинаров, гадая, кто мог за этим стоять. Он с удивлением обнаружил, что ему завели личную интернет-страницу, где указано его место жительства и от которой прислали пароль. — А с возрастом ошиблись, думают, я моложе». Модест Одинаров жил в большом городе, работал в крупной компании, где его приучили все доводить до конца, не откладывая в долгий ящик. Глаза уже слипались, он решал, лечь ли в пижаме, оставив на ночь форточку, или голым, плотно ее закрыв, но, прежде чем покинуть страницу, ответил: «Полностью с вами согласен». И нажал на кнопку «Мне нравится».

У Модеста Одинарова был ранний брак. И такой же ранний развод, после которого он в одиночестве грыз добытый в поте лица хлеб, копил деньги и мечтал о пенсии. «Начну жить», — подмигивал он себе в зеркале, представляя домик на морском берегу, раскладной полосатый шезлонг под платаном и белый песок, который, поднимая, ввинчивает в пустынный пляж ласковый южный ветер. Каждый день рождения, каждый отложенный рубль приближали Одинарова к мечте, ему казалось, что уже не за горами то время, когда он, как в детстве, сможет, склонившись набок, швырять в море плоские камни, которые будут скакать по волнам, выпрыгивая, как летучие рыбы, или, сложив ладони у рта, вдруг закричать первое, что придет на ум, а ответом будет только долгое насмешливое эхо. Модест Одинаров жил на последнем этаже, забившись, как воробей под крышу, и мечтал о будущем без надрывного будильника, городских «пробок» и вечно недовольного начальства. В выходные он вышагивал по бульвару, кормил со скамейки голубей, а встречая знакомых, опускал глаза.

— Модест? — окликнули его раз на улице.

Одинаров кивнул, собираясь перейти на другую сторону.

— Не узнал? — тронули его за локоть. — А ведь за одной партой сидели. — На Одинарова уставились красные, рыбьи глаза. — Я тебе еще списывать давал.

— И что?

Усмехнувшись, однокашник погладил седую щетину:

— Выпить хочется, а денег нет.

Одинаров, не глядя, протянул мелочь.

— А жизнь-то налаживается! — В руках у однокашника появилась бутылка. — Составишь компанию?

Одинаров покачал головой.

— А раньше не отказывал. Помнишь, как с уроков сбегали? Как нам не продавали пиво, и приходилось прохожих просить? Ты еще говорил, что тебя отец послал. Эх, были времена! Может, передумаешь? Посидели бы, поговорили. Ты когда в последний раз разговаривал?

— Не помню.

— Вот видишь! А у меня столько наблюдений.

Запрокинув голову, он стал пить из бутылки, держа ее одними зубами, потом, дернув шеей, отшвырнул пустую:

— Заметил, что никакая борода не прикроет лысины?

Одинаров промолчал.

— А что сегодняшняя жизнь не заменит прежней?

— Значит, не работаешь?

— А зачем? Ты вкалываешь за двоих! Правда, пользы от твоей работы ноль. А какие надежды подавал! Стихи писал, а теперь, как слепой, от привычных стен ни на шаг. Как случилось, что живешь через силу?

Одинаров вздохнул. Однокашник повесил на губе сигарету, но зажигать не стал.

— А ты в Бога веришь?

— Нет.

— И не страшно?

Одинаров пожал плечами.

— Не пьешь, не куришь и в Бога не веришь. Мне тебя жаль.

— Не лги! — взвился вдруг Одинаров. — Никому никого не жаль! Никому!

Однокашник расхохотался, потом, вложив в рот пальцы, по-мальчишески засвистел, как давным-давно, когда, стоя под окном, вызывал Модеста из дома.

— Сейчас выйду, — как и прежде отозвался Модест Одинаров. — Через пять секунд.

— Приходи, я жду, — серьезно ответил однокашник, вдруг почернев, как земля.

И Модесту Одинарову стало страшно, он уже не узнавал однокашника и не мог понять, в каком времени находится. И тогда он закричал. Он кричал, пока не проснулся от своего крика. Потом, вытянув руку из-под одеяла, по привычке утопил кнопку будильника и еще долго лежал в постели, глядя в потолок и вспоминая, как год назад хоронил приснившегося ему однокашника. Лил дождь, и в гроб летели крупные капли, стекая по лицу у покойника. Казалось, будто он плакал, а когда поплыл наложенный в морге макияж, пришлось торопливо опустить крышку. Свое имущество однокашник успел пропить, так что, собирая на похороны, пустили шапку по кругу. Круг оказался узким. Он состоял из одного Модеста Одинарова.

Сквозь пыльное окно едва пробивался рассвет, и утро обещало быть как скисшее молоко. Ничего не хотелось, все казалось пустым и никчемным. В такие дни стреляются или напиваются до бесчувствия. Полину Траговец от подобного спасала мать. «Ты не имеешь права думать о себе, — говорила она хорошо поставленным голосом бывшей учительницы. — У тебя на руках престарелая мать». Цепляясь за жизнь, мать по кусочку кромсала дни, отведенные дочери, приспосабливая их к своим. «Не кормит», — пуская слезу, жаловалась она соседям, так что на Полину в подъезде смотрели осуждающе. Годы шли, а жизнь у Полины все не начиналась. Когда-то у нее были женихи, но мать быстро всех отвадила. «Он тебе не пара, — говорила она в далекой Полининой молодости, а потом, когда у дочери появились первые морщины, добавляла: — Потерпи, уже недолго, выскочишь тогда за кого хочешь». И Полина осталась синим чулком. Изо дня в день она ходила на работу, готовила матери ужин и, слушая старческое брюзжание, думала о своем. У каждого есть тайна, и Полина была влюблена в одинокого жильца с верхнего этажа. Встречая его в лифте, она краснела как девочка, отворачивалась к зеркалу, в котором отражалось его строгое лицо с суровыми складками, и молилась, чтобы он с ней заговорил. Она и сама тысячи раз подбирала слова, с которыми обратится к нему, выстраивала их в единственно верной последовательности, делавшей их неотразимыми, как стрелы, но в лифте они вылетали из головы. А Модест Одинаров не обращал на нее внимания. Однажды она увидела его с ноутбуком подмышкой, и это натолкнуло ее на мысль — раз у нее не получается завести знакомство в реальности, значит, можно попробовать начать отношения с Интернета. Разыскав его почтовый адрес, она завела Модесту Одинарову личный аккаунт и включила его в свою интернетовскую группу.

Раз в неделю, в среду или четверг, Модест Одинаров ходил к немолодой кривозубой проститутке. Побыв полчаса, он расплачивался, выкладывая деньги на растрескавшийся комод. Она не знала его имени, он ее. «Точно звери», — спускаясь по лестнице, думал Модест Одинаров. Но такие отношения его устраивали, распрощавшись с молодостью, проститутка брала недорого, к тому же постоянным клиентам делала скидки.

— А у меня вчера отец умер, — как-то сказала она сдавленным голосом.

— Да? — задержался в дверях Одинаров и, не зная, что сказать, стал мять шляпу.

— Бросил он нас, — вздохнула проститутка. — Я тогда под столом проходила, и с тех пор мы не виделись. Помню, с матерью они все время ругались, он заначки от нее делал, она от него гуляла.

Одинаров надел шляпу.

— А на похороны я не пойду, — показала хозяйка свои кривые зубы. — Пусть как жил бобылем, так завтра один и управляется.

За дверью Модест Одинаров сплюнул на половик.

«Хорошо, что не завели детей, — вспоминал он свою короткую семейную жизнь. — До сих пор бы расплачивался».

Хлопнув парадной, он еще раз сплюнул и быстро зашагал по улице.

Женился Модест Одинаров на однокурснице, влюбившись без памяти. В их романе было все — соловьиные ночи, стихи, которые он ей посвящал, уличный фонарь, льнувший к изголовью кровати в дешевой гостинице, были ночи, рассказывать о которых можно целые дни, и дорога к венцу, устланная розами.

«Банальная история, — повторял Модест Одинаров, когда жена ушла к его приятелю. — Сам виноват, зря познакомил».

Приятель работал тренером по теннису, и, когда был без ракетки, непрерывно крутил мяч коротким крепкими пальцами.

— Ты мямля, — собирая чемоданы, бросала жена Одинарову, закрывшему голову руками. — И сам об этом знаешь.

— Ты мямля, — подтвердил на другой день приятель, зашедший расставить все по местам. — И об этом все знают.

Он с размаху стукнул мячом об пол, так что тот ударился о потолок, и, задрав голову, ловко поймал его растопыренной ладонью.

— Я мямля, — согласился Модест Одинаров, обводя взглядом разом опустевшую комнату; он только сейчас заметил, что приятель давно ушел.

Он открыл окно на балкон, глядел на сновавших внизу прохожих, загибал пальцы, точно гадая, сколько еще из них знают открывшуюся ему истину, потом убрал разбросанные женой вещи, сменил замки, спустив ключи от прежних в мусоропровод, и переселился на другую планету, где не было ни жен, ни приятелей, ни любви.

С годами жизнь Модеста Одинарова вошла в свое одинокое русло, когда живут уже по привычке, не спрашивая себя зачем, не загадывая наперед и не оглядываясь назад, всецело отдаваясь текущему мгновенью, которое как две капли похоже на прошедшее. По субботам он спал как убитый, без страхов, без сновидений, а по воскресеньям просыпался с тем горьковатым вкусом во рту, который появляется, когда снится сатана. Но Модесту Одинарову снился его начальник, молодой, лысоватый, носивший глаза, как очки, сквозь которые смотрел оценивающе, точно ювелир через лупу, и пока дело не касалось прибыли, безмолвный, как книга. От долгого, привычного молчания губы у него склеивались, как запечатанный конверт, а когда он что-то произносил, трескались, будто спелый стручок, вываливая наружу горошины слов, которые, перекатываясь, разбегались в разные стороны, точно доказывая, каких трудов стоило ему составить из них предложение. Во сне начальник распекал Модеста Одинарова за упущенную возможность заработать для компании лишний рубль. То и дело вынимая двумя пальцами запотевшие глаза-очки, он протирал их чернильной промокашкой, пока смущенный его внезапным молчанием больше, чем речами, Модест Одинаров виновато втягивал голову в плечи. А потом начальник, указывая на дверь, бросал одно слово: «Уволен!». Открывая глаза, Модест Одинаров сглатывал слюну и думал, что сон вещий и, возможно, сбудется уже завтра, в понедельник. Чтобы развеять дурное предчувствие, он быстро завтракал и, завернув в газету почерствевший за ночь батон, спускался на бульвар кормить голубей. Это занятие действовало на него расслабляюще, он смотрел по сторонам — вот прошла на шпильках блондинка, такая высокая, что казалось, будто под джинсами у нее спрятаны ходули; вот на соседнюю лавку опустился старик с трясущимися руками, про которых говорят «он дышит на ладан», с проступавшими, как реки, венами, и, развернув газету, погрузился в статью о здоровом образе жизни. Эти наблюдения убеждали Модеста Одинарова, что он не более чудаковат, чем остальные, и потому ничто не может нарушить его сонной безмятежности. Но однажды он вернулся с воскресной прогулки сам не свой. У него тряслись руки и, наливая чай, он разбил чашку. Расхаживая по комнате, он пожалел, что не завел кошку, на которой можно сорвать злость, потом, зацепив ногой табурет, сел за компьютер и, зайдя в интернет-группу, куда был недавно приглашен, быстро отстучал:

«Я кормил на бульваре голубей, потихоньку отщипывая хлеб от лежавшего рядом батона. Было пасмурно и безлюдно. А потом появился он. Даже не он, а его собака. Огромный питбуль со свинячьим хвостом. Рычаньем разогнал голубей. Положив лапы на скамейку, стал обнюхивать батон.

— Уберите пса, — как можно спокойнее сказал я.

Толстый мордатый хозяин расплылся в улыбке:

— Не боись, не укусит.

Собака стала грызть хлеб.

— Чарли, фу! — ласково окрикнул мордатый. — Оставь старику горбушку.

Я не смел шелохнуться. Собачник прошел мимо, тихим свистом, подзывая животное.

— Намордник надевать надо, — прошептал я вдогон одними губами.

— Кому? — нагло обернулся он.

И заржав, пошел по аллее. Я готов был его убить! И почему я должен терпеть? Потому что трус? А сколько было таких обид! Сколько раз я уступал! О, как сладко было бы видеть его мозги, которые клюют голуби!»

Опубликовав сообщение, Модест Одинаров успокоился. Взяв веник, он замел на кухне осколки разбитой посуды, а когда вернулся, его ждал короткий комментарий:

«Зря его не убил. А за ним и собаку».

Совет был подписан: «Раскольников».

«Ну, это уже слишком», — подумал Модест Одинаров. И тут же, словно его мысли читали, появилось:

«Боишься? А если б не боялся? И знал, что за это ничего не будет?»

Вместо ответа Модест Одинаров исправил на своей странице возраст, вписал в графу семейного положения: «Разведен», а в религиозные взгляды: «Не знаю».

Полина Траговец прочитала сообщение Модеста Одинарова, и ее охватила жалость. Она представила его маленьким ребенком, которого обижают сверстники, и почувствовала к нему материнскую нежность.

Внизу, на первом этаже его дома, был магазин, с витринами больше его квартиры, светящимися по вечерам неоновой рекламой. В детстве Модест часто заходил в него и, прислонившись щекой к холодному кафелю в отделе живой рыбы, долго смотрел на блестевших чешуей морских чудищ, тесно плававших в огромном аквариуме, на стоявший рядом сачок с крупными ячейками, которым усатый продавец вытаскивал их и, оглушив прежде деревянной колотушкой, взвешивал, положив на чашку тяжелую гирю, чтобы после завернуть в промасленную бумагу. «И рыбы не знают, что их ждет, — думал Модест. — А может, и мы выставлены на продажу?»

Десятилетиями магазин не менялся: казалось, даже сачок с рваной сетью был прежним, и те же рыбы обреченно плавали в аквариуме. «Все проходит, но ничего не меняется, — зайдя за продуктами, каждый раз думал Модест Одинаров. — Мы исчезнем, а все так и останется». Раз он на мгновенье задержался у аквариума, и крупная рыбина, чуть его не забрызгав, выпрыгнула из воды, шумно плюхнувшись под ноги. Она ожесточенно билась, оставляя на пыльном кафеле мокрые следы, выскальзывала из рук подоспевшего продавца, пока он не оглушил ее двумя ударами колотушки. «Эта наша свобода», — отвернулся Модест Одинаров.

Была весна, капель стучала по карнизам, разрезая грязный снег, на улицах бежали ручьи. Возвращаясь с работы, Одинаров долго смотрел на оторванную водосточную трубу, круживший под ней дождь, который бил по луже, потом, как был в одежде, встал под него, обжигаясь холодными каплями. Насквозь промокший, он поднялся по лестнице к себе под крышу, сбросил в прихожей одежду, стаптывая ее ногами, и голый бросился к компьютеру. В группе он оставил следующее:

«У начальника заболела секретарша, и в обеденный перерыв он, не отрываясь от бумаг, бросил: “Сварите кофе, дружище”. А он вдвое моложе! И почему я не плеснул ему кофе в лицо? Может, взять отпуск?»

Комментарии не заставили ждать.

«Есть на примете хороший психиатр? — интересовался некто Олег Держикрач. — Могу порекомендовать».

«Не тратьте зря нервы, — успокаивал некто Иннокентий Скородум. — Начальство не переделать».

«Правильно, что сдержался, — выразил мнение Раскольников. — Лучше его в подъезде замочить. Научить как?»

Полина Траговец читала и не верила глазам. Мужчина, которого она встречала в лифте, казался ей раньше сильным и уверенным. Но таким, болезненно ранимым и беззащитным, как подснежник, он нравился ей даже больше. Какие могут быть препятствия? Чего она ждет? Полину Траговец снова охватила материнская нежность, ей захотелось постучать в квартиру на последнем этаже, признаться хозяину в любви и, прижавшись к груди, разделить его одиночество. Но ее остановило предупреждение администратора:

«Напоминаю, что в правилах нашей группы значится отсутствие личных встреч ее участников. Конечно, мы не можем этого проверить, но надеемся на вашу порядочность». И Полина Траговец ограничилась словами:

«Все терпят, все подчиняются. До тех пор, пока внутри ни просыпается человек. Тогда всё посылают к чертовой бабушке, кардинально меняя жизнь. Может, ваш час пробил?» Комментарий она подписала «Ульяна Гроховец». На аватару Полина Траговец прицепила стриженую под каре улыбавшуюся женщину, фото которой выудила в бескрайних водах интернета. Та была лет на двадцать моложе, и Полина Траговец даже в ее возрасте не смеялась так искренне, но ее это не смутило — какая разница, как выглядеть Ульяне Гроховец, которой нет?

Прочитав ее комментарий, Модест Одинаров вспомнил университет, который окончил с красным дипломом, вспомнил грандиозные планы и не мог понять, почему стал бухгалтером и полжизни просидел в офисе. Он кивал, думая, что ему давно осточертело считать чужие деньги, и снова представлял каштаны, провисший под его тяжестью гамак и домик на море. А чего ждать? Может, плюнуть на работу, продать квартиру и уехать? Модест Одинаров повернулся к зашторенному окну, закрыл глаза и почувствовал щекой легкий бриз.

Полина Траговец и сама не знала, почему так написала Одинарову.

— Холодильник опять пустой, — доносился из-за стены скрипучий старческий голос. — Голодом меня моришь.

— А твои любимые пельмени?

— Они просрочены. Отравить меня хочешь?

Полина Траговец со вздохом одевалась и шла в магазин. А в группе превращалась в Ульяну Гроховец. Здесь ей хотелось быть смелой, раскрепощенной, хотелось отчаянно кокетничать и сорить деньгами. Она представляла себя то светской львицей, то дорогой путаной, кружившей головы знаменитостям, которых видела по телевизору. «Двести грамм колбасы, — пробивала она в кассе. — И бутылку кефира». А по дороге вспоминала свои восемнадцать лет, длинную девичью косу, которой завидовали одноклассницы, ухажеров, стоявших под окнами с цветами, свое белое платье, кружившееся в танце на выпускном балу, и понимала, что это — воспоминания мертвеца. Сожаление об упущенных годах, проведенных около властной полоумной матери, заставляли ее жить фантазией, упрямо играя роль Ульяны Гроховец.

«Я долго была в плену обстоятельств, — писала она, смахивая слезы, капавшие на клавиатуру. — Пока в один прекрасный момент не стала другой, осознав, что жизнь проходит, что она бесценна, и судьба находится в моих руках. Бросив все, я уехала в другую страну, без языка, без знакомых, без средств к существованию. Я нарочно выбрала место за семью морями, купив билет в один конец, зная, что денег на обратную дорогу мне никто не даст. Я сожгла мосты, заняв у кого только можно, уверенная, что не верну. Я — дрянь? Возможно. Но жизнь одна! К тому же судьба оказалась ко мне благосклонной, и вскоре я выслала всем деньги. Я написала “судьба”? Ерунда! Я кусалась, изворачивалась, хитрила, как животное, загнанное в угол. И мне удалось. Мы себя не знаем, когда встает вопрос о выживании, в нас пробуждаются неведомые силы. Я меняла мужей чаще, чем любовников, а кавалеров — как перчатки. Я выучила множество языков, забыв родной, о чем совершенно не жалею. Иногда мне приходилось спать на морской пристани, прямо на досках, так что во сне, когда рука соскальзывала в воду, ее обжигали медузы, но чаще она обнимала подушки в пятизвездочных отелях. Я пускалась во все тяжкие — была девушкой по вызову и, продавая тело, торговала заодно наркотиками. Один раз, спасаясь от полиции, я попала в руки бандитов, в другой, убегая от бандитов, я в течение суток сменила пять стран, но в конце концов отдалась под защиту полиции. Обо мне писали газеты, так что к славе я привыкла даже быстрее, чем к безвестности. Сейчас я богата, независима. И всего достигла сама! А знаете, что подтолкнуло меня? Безногий калека! Тысячи раз я проходила мимо церкви, подавая ему мелочь, а тут меня словно пронзило: “Господи, мне же дьявольски повезло, раз я иду по жизни на двух ногах!”. Так почему я стою с ним рядом? Почему не ушла далеко-далеко? Может, вам тоже пора?»

Прежде чем поместить комментарий, Полина долго смотрела на экран. Разве в ее истории не видно фальши? Разве секрет, что падчерице никогда не стать золушкой? Чтобы отбросить сомнения, Полина Траговец нажала на кнопку «Опубликовать».

С каждым годом Модест Одинаров делал шаг по лестнице в небо, и ему уже казалось, что он видит все, как мальчишка, залезший на крышу. Мир перед ним лежал как на ладони, в нем все было просто и ясно: сильных любят, слабых топчут, а богатым все можно. Однако в группе он столкнулся с новыми людьми и понял, что видел не мир, а мирок. «Мир огромный, — думал он, — но его не надо бояться». Он стал всерьез размышлять о том, чтобы завербоваться в какую-нибудь дальнюю экспедицию — мыть золото или искать нефть. Иногда, как в детстве, когда разглядывал географический атлас, он представлял, что уедет в жаркие страны, где растут пальмы, и станет охотником на львов. «Какая глупость», — краснел он. А потом снова возвращался в мыслях к забытому богом углу, джунглям или прериям, где видел себя среди скачущих на мустангах туземцев. Ночами по стенам бегали лиловые пятна от дрожавшей занавески, а узкие полоски света от проезжавших машин, расширяясь, вдруг охватывали весь потолок, и Модест Одинаров, глядя на них, видел пылинку, летевшую в необъятных космических просторах. У него прорезался третий глаз, которым он видел своего начальника, тратившего молодость неизвестно на что, видел свою заросшую бурьяном могилу, на которую будет некому принести цветы. Модест Одинаров запускал тогда в стену подушкой, и тишину в его комнате разрезал смех, похожий на звон разбившегося стекла. Засыпал он, когда ночь шла уже на убыль, а утром, тщательно намыливая кисточкой ввалившиеся щеки, так что пена густо стекала на подбородок, видел в зеркале чужое лицо, неподвижное, истрепанное, будто на портрете, исхлестанном ветром, иссеченном дождем, и задвинутом вглубь антикварной лавки. Оно проступало словно из тени, бесцветное, тусклое, и только глаза чернели на нем, как угольки. Модест Одинаров по-прежнему ходил на работу, а прогулки совершенно забросил, вечерами жадно припадая к монитору. Он читал о чужих жизнях, как в детстве примеряя их на свою, делился своим одиночеством, отчаянием, рассказывал о тайных желаниях, которые, облекаясь в слова, становились ясными ему самому, он откровенничал с теми, кто был за тридевять земель, но заменил ему близких.

Однажды бессонной ночью Модест Одинаров долго смотрел на мигавшие за окном звезды, несколько раз ходил на кухню пить чай, а потом, сев за клавиатуру, написал:

«В детстве меня отправили раз в летний лагерь, где я посреди срока сильно простудился. Мне прописали горькую микстуру, постельный режим и отселили в отдельный бокс. Хорошо помню маленькие окна, завешенные от жары марлей, ползавших по ней мух, обои со всадниками, которые скакали вместе с моей температурой, помню доносившиеся крики моих товарищей, гонявших мяч, так что у них не было времени меня навестить. В своей одиночке я чувствовал себя, как в зачумленном бараке, став неприкасаемым, наблюдал со стороны жизнь, которую вел еще вчера, — вот пошли строем завтракать, вот лагерь стих, значит, всех повели на реку, вот звучит горн, объявляя тихий час. Выпав из привычного распорядка, как птенец из гнезда, я чуть не плакал, ощущая себя брошенным, забытым, ненужным. Я вдруг стал лишним в счастливом прекрасном мире, от которого был отгорожен стенами изолятора. Иногда мне кажется, я до сих пор из него не вышел».

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Ульяне Гроховец.

«А спорим, что, видя утром твои мокрые простыни, все думали, будто у тебя энурез, а это ты всю ночь плакал, повторяя: “Я неудачник, я неудачник…”?» — написал Раскольников.

Модест Одинаров промолчал.

«У меня бывает сходное ощущение, — поделился Олег Держикрач. — И как вы с ним боретесь?»

Его искренность предполагала ответную, и в приступе откровения Модест Одинаров застучал по клавиатуре, то и дело заливая ее остывшим чаем:

«Признаться, никак, спасает работа, как мельничный жернов на шее».

Дождливой ночью, прижавшись лбом к холодному стеклу, он смотрел на расплывшееся внизу море огней, в котором у него появились знакомые, и гадал, в каком окне они живут, а так как они могли жить в любом, ему становились небезразличны все. Модест Одинаров теперь с особенной ясностью осознавал, что все пройдет бесследно, как капли, стекавшие по стеклу, вспоминал свои юношеские переживания, бесконечно далекие теперь, и не понимал, отчего придавал им такое значение. «Думал о себе много». Он оперся о подоконник, чувствуя, как барабанит по лбу холодный дождь, и видел себя витязем на развилке, которого, пойди он направо или налево, ждет тупик. «А к чему нерешительность, раз все равно умру?»

За долгие годы Модест Одинаров впервые почувствовал себя, будто в семье, о которой всю жизнь мечтал и которую так и не создал, а с Ульяной Гроховец у него завязалась личная переписка. Он поведал ей о своей жизни, она — о своей мечте.

«Вы мне верите? — не выдержала раз она. — Верьте, иначе писать бессмысленно».

«Для меня вы такая, какой представились, — ответил он. — Да и зачем вам лгать?»

Прочитав, Полина Траговец залилась краской. Она уже пожалела, что все это затеяла, но отступать было некуда.

«Вчера прилетела с островов. В самолете так трясло, что, кажется, я до сих пор прыгаю на батуте. Среди кокосовых пальм был у меня очаровательный мулат. Мы занимались любовью по три раза на дню, а ночью прямо в постели, как волки, набрасывались на еду. На мгновенье я даже потеряла голову. Страсть опасна, рискуешь испортить жизнь. Не попрощавшись, я упаковала чемоданы и улетела первым же рейсом. Советую и вам почаще наступать себе на горло!»

Так вела себя Ульяна Гроховец. А из Полины Траговец мать сделала безопасного врага, которым забавлялась, как бумажным тигром.

— Ты стала несносной, — дразнила она дочь, помешивая на кухне овощной суп. — Все время перечишь. Убить меня хочешь?

— Что за выдумки, мама.

— Ну, вот опять! Я знаю, ждешь моей смерти, чтобы привести мужчину.

— Это неправда!

— Тогда скажи, что любишь свою мамочку.

— Ты же знаешь, что люблю и мне больше никто не нужен.

Натянув улыбку, Полина поцеловала дряблую щеку, провела ладонью по седым растрепанным космам, а закрывшись в комнате, зарыдала в подушку. Она думала, что ее жизнь прошла, так и не начавшись, бормоча в утешение, что все несут свой крест, оттого что некуда пойти. Дождавшись, пока за стенкой стихнет старческое брюзжание, она включила компьютер и, все еще всхлипывая, написала:

«Главное — не стать жертвой, а для этого не надо жалеть себя».

Это понравилось Модесту Одинарову и некоему Сидору Куляшу.

По утрам Модест Одинаров по-прежнему громко включал радио, до синевы брился, отстукивая по рулю услышанную мелодию, торчал в «пробках», а на работе ненавидел начальство. Но день пролетал незаметно, ему удавалось зайти в интернет и оставить сообщение, так что возвращался он, предвкушая комментарии. После работы он раньше тщательно готовил себе пищу, раскладывая по тарелке мелко нарезанный укроп, жарил стейк или цыпленка, а садясь за стол, вспоминал одно и то же.

— Даже мертвецы высыхают, потому что перестают есть, — кормила его с ложки мать, когда он оставлял еду на тарелке. — От голода они грызут себя изнутри.

— Как мертвецы у Гоголя? — храбрился он, но от ужаса глотал, не разжевывая, большие куски. — У них желтые кости и длинные ногти, мы в школе проходили.

— Вот именно, разве ты хочешь стать таким?

Эта всплывавшая в памяти сцена вызывала у Модеста Одинарова улыбку, расцветавшую кактусом в пустыне его одиночества. И после ужина он засыпал с ней, бросив на кухне грязную посуду.

Но теперь, после вступления в интернет-группу, Модест Одинаров быстро кипятил чайник и, жуя бутерброд, садился к монитору.

«Рядом не всегда близкий, — сообщил он открывшуюся ему истину. — Близкие могут быть и далеко».

«Верно», — подтвердила Ульяна Гроховец.

«Ближние твои враги», — пошел еще дальше Иннокентий Скородум.

Они обменялись смайликами, отметив его пост, как понравившийся, и от этого у Модеста Одинарова потеплело на душе.

Кривозубую проститутку Модест Одинаров больше не посещал, а вспоминая свои визиты к ней, готов был провалиться — ему делалось стыдно за свое одиночество, за дурную привычку, с которой он не расстался в детстве, а перенес во взрослую жизнь, встречаясь без любви. Но теперь все было иначе: выйдя из пустыни, он сбросил, наконец, бремя одиночества и, расправив плечи, почувствовал себя помолодевшим на сто лет. Теперь он все чаще рассматривал глянцевые журналы, предлагавшие недвижимость, которые покупал по дороге на работу. Выбирая себе дом, он представлял, как разошлет приглашение в группу, отметив новоселье с ее членами. «Какими они окажутся? — гадал он, мечтательно листая страницы. — Не разочаруют ли?» И твердо решил не тянуть с покупкой дома. По крышам уже зашагали короткие июньские дожди, асфальт расчертили мелом для игры в «классики», а на подоконниках стали засыхать фикусы, которые по привычке поливали, как зимой. Застряв в «пробке», Модест Одинаров через опущенное стекло вяло переругивался с водителем красного автомобиля, как вдруг у него кольнуло в боку. На здоровье он никогда не жаловался, и не придал этому никакого значения. На следующий день боль повторилась. «Срочно сдайте анализы», — осмотрев его, нахмурился врач. Анализы оказались плохими. Модест Одинаров тупо уставился на фонендоскоп, змеей свисавший на белом халате, не понимая, что ему говорят.

— Сколько осталось? — выдавил он одними губами, когда повисло молчание.

Врач развел руками.

— Сколько? — глухо повторил Модест Одинаров.

— Ничего нельзя обещать, если делать химиотерапию, месяца два, три…

Из больницы Модест Одинаров вышел белый как снег, не замечая ни сновавшей детворы, ни чирикавших под ногами воробьев. Дома он осмотрел свои вещи, будто видел их в первый раз, выйдя на балкон, окинул взглядом раскинувшийся внизу город, бушевавшую зелень, пытаясь представить, как все будет, когда его не станет. «Как все буднично, — пробормотал он. — Как все буднично». И вдруг вскрикнул, на мгновенье вообразив, что его уже нет, почувствовав каждой клеткой тела предстоявшую ему вечность небытия. Судорожно глотая воздух, он бросился на кухню, хватая без разбора попадавшиеся на глаза предметы и швыряя их на пол. «Какого черта! — задыхался он, багровея. — Почему я?» Он метался, как зверь в клетке, готовый зарычать от бешенства и бессилия. Но вскоре им овладела совершенная апатия, будто диагноз касался не его, и в больнице был тоже не он, а все это происходило с кем-то другим. Он даже зевнул. «Ну и не станет. Какая разница когда». Эта ровная безысходность вернула его к действительности, он собрал с пола посуду, аккуратно замел осколки на совок, подумав, что накопилось много пыли и надо бы устроить уборку. Потом опять вспомнил, что скоро умрет, что не будет ни моря, ни каштанов, ни гамака в крупную клетку, но на этот раз мысль не пронзила, не обожгла, а лишь тупо засвербила, будто комар в ночи. Он подумал о том, что делают в таких случаях. Рассчитываются с долгами? Но их у него не было. Составляют завещание? Но кому? Этот вопрос погнал его к компьютеру.

«А вот если бы я серьезно заболел, — предложил он тему для обсуждения. — Чем бы вы помогли? Что бы посоветовали?»

Он хотел добавить про наследство, но в изнеможении повалился на кровать. Во сне он увидел себя ребенком: мать выносит на веранду пыхтящий самовар, в саду ядовито желтеют одуванчики, а он слушает гудение шмеля, заблудившегося в ржавой брошенной лейке. Сон был такой явственный, отчетливый, что, пробудившись, он еще долго не мог понять, где находится, разглядывая засаленные обои с чередовавшимися цветами, думал, что, возможно, скоро опять попадет в свое детство, вспоминал родителей, у которых много лет не был на могиле. А потом поднялся к компьютеру.

«Деньги вышлю, — откликнулся Иннокентий Скородум. — По какому адресу?»

«Если болезнь смертельна, не тяни, — посоветовал Раскольников. — Пистолет дать?»

«А что вы от нас ждете? — в лоб спросил Сидор Куляш. — Сначала определитесь».

«Надеюсь, это лишь предположение?» — откликнулась Ульяна Гроховец.

Полина Траговец, прочитав обращение Одинарова, не поверила глазам. Ей было невыносимо думать, что это не пустое предположение, что крепкий мужчина, который каждое утро садится в машину, болен.

«И всё?» — криво усмехнулся Одинаров. Его корреспонденты вновь стали бесконечно далекими и чужими. Он вдруг вспомнил, как на экзамене подглядывал через ладонь к соседу и как заметивший это учитель пошутил: «Одинаров, каждый умирает в одиночку!». «Каждый умирает в одиночку», — повторял ночью Модест Одинаров, разглядывая в углу блестевшую в лунном свете паутину. Стиснув подушку, он громко всхлипывал, пугая шуршащих на чердаке мышей. На другой день он позвонил на работу.

— Нездоровится? — деревянным голосом переспросил начальник, губы которого треснули, как жареный каштан. — Надеюсь, скоро поправитесь.

У Модеста Одинарова мелькнуло желание высказать все, что накопилось за годы, но вместо этого он глухо произнес:

— Ищите замену.

Начальник повесил трубку, а Модест Одинаров еще долго слушал гудки.

Вставал Модест Одинаров по привычке ранним утром, когда на улице ширкали метлами дворники, но уже не брился, обрастая колючей седой щетиной. Из дома он тоже не выходил, кормил теперь голубей на балконе — выставив табурет, сорил под ноги хлебные крошки, которые птицы клевали, неуклюже перепрыгивая через его стопы, — но мысль о том, что после его смерти они будут так же ворковать, гадить и, трепеща крыльями, совокупляться, была нестерпимой. Он резко поднимался, едва не задевая испуганно взлетевших птиц, и закрывал за собой балконную дверь.

Прошла неделя, и жизнь брала свое — Модест Одинаров ел, спал, будто впереди у него были годы, забывая про болезнь, смотрел с балкона на красивых длинноногих женщин, на цветы, изнывавшие в кадках от жажды, на дорогие машины, плывшие в облаке летнего зноя и обжигавшей пыли. Облокотившись о загаженные голубями перила, он с улыбкой представлял Ульяну Гроховец, проводившую отпуск на далеких тропических островах, думал, что в их отношениях, как и в любом эпистолярном романе, было что-то обещающее, загадочное, придававшее им особое очарование, ни с чем не сравнимый шарм. А потом вдруг все вспоминал. Модест Одинаров давал себе слово, которое каждый раз нарушал, — не трогать пальцами левый бок, но даже во сне его рука тянулась к желтевшей, мокрой от пота коже, скрывавшей источник боли, и он, еще не пробудившись, нащупывал опухоль, вздрагивая, будто внезапно услышал скрип земной оси, требовавшей смазки и грозившей повернуться, выпасть из державших ее шарниров. «Господи, помоги, Господи, помоги…» — встав на колени возле оконной батареи, шептал он в звездное небо. А потом вдруг вспомнил, что не верит, что никогда раньше не молился и в церкви был только в раннем детстве. Перед ним проплыла вся его жизнь, растоптанная юность, брошенные начинания, предстало все, что не сделал, до чего не дошли руки. «Начну все заново, — давал он слово. — Если выживу, начну все заново». Но Модест Одинаров знал, что начинать заново на земле никому не позволяют, а если бы ему и позволили, то свое слово он бы не сдержал. Про живших когда-то он раньше думал: «Мы и они», про современников: «Я и они», а теперь вдруг осознал, что нет никаких «они», а со времен Авраама был только он, Модест Одинаров, знавший, что должен умереть. Теперь он ясно увидел себя со стороны — заезженная рабочая скотина с расшатанными нервами и увеличенной печенью, изо дня в день решавшая финансовые головоломки, которые имели косвенное отношение к его жизни, — деньги. Деньги, которые он считал согласно правилам математики, умножаясь у других, никак не хотели укладываться в его карман, точно тот был дырявым, оставаясь колонками цифр на холодном, мертвенно мерцавшем экране. На это занятие были потрачены лучшие годы, а теперь опухоль поставила крест на сухой арифметике, наполнив его существование настоящей жизнью с ее болью, страданием и страстной борьбой, как весенний ручей наполняет пересохшее русло.

Поначалу Модест Одинаров думал, что его смерть вызовет переполох, сдвинет его мир с привычной оси, а все происходило отвратительно буднично. В квартире зазвенели склянки, запахло аптекой, на столе заблестели шприцы, которые оставляла строгая медсестра, делавшая уколы.

— За всю жизнь столько не кололи, — пробовал шутить Модест Одинаров.

— Ну, когда-то надо начинать, — бесстрастно подыгрывала она.

Медсестра была бледная как смерть и перед уходом поправляла в зеркале тонкие, состарившиеся раньше времени волосы. Провожая ее, Модест Одинаров находил в себе силы улыбнуться:

— До завтра.

— До завтра, — эхом отвечала она, стуча каблуками по лестнице.

А когда медсестра уходила, на Модеста Одинарова наваливалась тоска, он не понимал, зачем тянет, почему, будто мальчишка, подчиняется врачам, не в силах даже под конец преодолеть инерцию жизни.

«Может, и прав Раскольников? — думал он, свесившись с балкона. — Чем хрипеть по ночам, один только шаг».

И снова приходила медсестра, растягивая пытку, и снова наступали часы, заставлявшие каждое мгновенье переживать смерть. Теперь он все больше времени проводил на постели, растянувшись в грязной, нестиранной одежде, измученный бессонницей, уже не разбирал времени суток, устав решать, чего боится больше — ночей или рассветов, и перед ним все явственнее проступало прошлое, которое он теперь видел с изнанки, понимая, почему оно кроилось так, а не иначе. Перестав быть загадочным, прошлое утратило прелесть, как чудо, оказавшееся нехитрым фокусом. Модест Одинаров вспоминал спившегося однокашника, который держал бутылку одними зубами, точно пытался перекусить ей горло, бывшую жену, ее нового мужа, непрестанно крутившего в руке теннисный мяч, вспоминал кривозубую проститутку, молчаливого лысоватого начальника, и эти люди были уже неотличимы от его виртуальных знакомых, приобретенных в группе, как и всплывавшие в памяти картины — дача с желтевшими одуванчиками, летний лагерь, где он заболел — стали неотделимы от увитого плющом домика на морском берегу, который рисовала ему мечта. «Все — сон», — думал Модест Одинаров, и эта мысль, неотвязная, как мышиная возня на чердаке, грызла щель в его сознании, заставляя стискивать зубы. Есть он перестал — зачем кормить опухоль? — и в обвисшей одежде стал походить на вешалку с узкими плечиками, а шаркая в уборную стоптанными тапочками, больше не задерживался у зеркала, боясь увидеть, как за его спиной там причесывается бледная медсестра, похожая на смерть. И перед ним все чаще вставала одна и та же сцена из детства. Посреди двора мать рубит голову курице, по-женски зажмурившись и отведя от себя руки, чтобы не измазаться кровью.

— Мама, мама, — тащит он ее за подол, когда она, швырнув куриную голову скулившей рядом собаке, вытирает о фартук окровавленный нож. Склонив набок пасть, собака жадно грызет голову, прижимая ее лапой, а курица беспорядочно бьет крыльями, бегая по двору.

— Пусть кровь спустит, — говорит мать, перехватив его взгляд. Она убирает нож в карман и достает горсть зерна. — Хочешь пока покормить птичек?

С забора уже соскакивали куры, толкая друг друга, лезли под ноги.

В обед Модест пил мутный бульон, в жировых блестках которого ему мерещились куры, клевавшие зерно, когда их безголовая соседка металась по двору.

И другие картины всплывали в памяти долгими бессонными ночами, когда он лежал, уставившись в потолок. В Рождество в доме царило радостное оживление, наряжали душистую с мороза елку, а на святках мать гадала на Библии, водя по бумаге шершавым пальцем, которым потом, поплевав на подушечку, тушила свечу, и теперь Модест Одинаров тоже попытался прочитать судьбу — с закрытыми глазами подошел к книжной полке, протянув руку, на ощупь вытянул какой-то толстый фолиант и раскрыл наугад. Строчка, в которую уперся его взгляд, заставила сильно забиться его сердце: «Но — странное дело — все то, что прежде заслоняло, скрывало, уничтожало сознание смерти, теперь уже не могло производить этого действия». Это был рассказ Толстого «Смерть Ивана Ильича».

Модест Одинаров отшвырнул книгу.

В группу он больше не заходил, однако часто вспоминал попутчиков, оказавшихся в его последнем поезде. Он представлял, как они будут скрашивать одиночество, демонстрируя обманчивую готовность подставить плечо, точно распластавшиеся на воде кувшинки. И вдруг понял, что они были его провожающими, а в ночь, когда его уже не добудиться, продолжат спать, зарывшись в подушки. Зыбкая, искромсанная тучами луна осветила его согнутую фигуру — подвернув под себя ноги, Модест Одинаров сидел за компьютером, сочиняя гневные инвективы, на которые способен только глубоко обиженный человек, жестоко обманувшийся в своих чувствах, он обличал, стыдил, поведав о своем трагическом ощущении жизни, полностью подчинившем его в ожидании близкого конца, заклинал не вводить других в заблуждение мнимой дружбой, которая не принесет ничего, кроме горького разочарования. Он писал убедительно, взяв в сообщницы смерть, которая подбирала за него слова. На это занятие, вернее на то, чтобы его представить, ушли последние силы, и, едва дотащившись до постели, он грохнулся на смятые, пропахшие потом простыни. Уснуть он не смог. Ему вдруг опять стало казаться, что умирает не он, а кто-то другой, его брат-близнец, а он по-прежнему ведет жизнь отшельника, упиваясь одиночеством, поглощая дни вместе с макаронами на ужин и ночными кошмарами. К действительности его вернул резкий запах. Он ударил в ноздри, проникнув в мозг, сверлил там, как крот, огромную дыру, он исходил от его грязного, заживо гниющего тела, и Модест Одинаров понял, что его двойником был покойник, с которым он скоро сольется в одно целое, как с отражением на зеркальном пруду, бросившись в холодную воду, отправившись в мир призрачных путешествий, мир, который рисовало ему воображение ребенка, — без боли, неизбежных расставаний и довлеющего, как земное притяжение, долга.

— Моде-эст, — позвали его в темноте, точно мать, с которой он в детстве играл в прятки. — Ты готов?

— Иду, — твердо ответил он, раздвинув слипшиеся веки, и тотчас зажмурился от невыносимого света.

Последняя запись Модеста Одинарова в группе была короткой и показалась многим бессмысленной:

«Провожающий — не попутчик!»

Прочитав этот пост, Полина Траговец захотела подняться на последний этаж. Но опять не решилась. В тот же день в интернете исчезла личная страница Модеста Одинарова. А назавтра, возвращаясь с работы, Полина Траговец увидела дежурившую у подъезда «скорую». У нее екнуло сердце. Она проскочила три ступеньки и чуть не вскрикнула, поднеся ладонь ко рту, когда в дверях столкнулась с носилками. Хмурые, сосредоточенные санитары несли под простыней того, кто был Модестом Одинаровым. Полина опустилась на ступеньку и долго смотрела на то место, с которого отъехала «скорая».

— Говорят, повесился, — встретила ее мать.

— Кто?

— Жилец с верхнего этажа. Тот, который превратил балкон в голубятню. И куда спешил, все там будем.

Полина заперлась в комнате. Она чувствовала себя вдовой, которой оставалось носить траур, поливая слезами чахлые, засыхавшие на подоконнике фикусы. Не выходя замуж, она словно прожила долгую семейную жизнь и теперь совершенно не представляла, что будет делать, оставшись одна. Дальнейшее пребывание в интернетовской группе казалось ей абсолютно бессмысленным, она уже хотела навсегда ее покинуть, как дурной сон, забыв свою неудавшуюся затею, но тут ей пришло в голову иное, она решила сделать вид, что ничего не случилось, скрыв исчезновение Модеста Одинарова.

«Конечно, моя болезнь — лишь простое предположение», — оставила она сообщение под ником «Модэст Одинаров», изменив в имени одну букву. Это было последнее, что она могла сделать для Модеста Одинарова — продлить его виртуальную жизнь, раз не решилась устроить настоящую.

«Сменили ник?» — поинтересовались в группе у Модэста Одинарова.

«Имидж надо обновлять», — отшутилась она.

МЕРТВЫЕ ДУШИ

Женщину свободных нравов Полина Траговец изображала убедительно, и многие приняли ее игру. Но нашелся один, который ей не поверил. Проницательность была частью его профессии и приключения Ульяны Гроховец вызвали у него улыбку. Иннокентий Скородум был писатель, и для своей интернетовской аватары взял картинку: перо, опущенное в чернильницу.

«Это псевдоним, — признался он. — Я достаточно известен, чтобы скрывать имя. Зачем я здесь? На то есть две причины. Во-первых, мне хочется говорить от себя, не прячась за литературных героев. Это делает речь определеннее и категоричнее. Во-вторых, напиши я в книге то, что могу высказать здесь, ее не купят. Человек должен посадить дерево, построить дом и написать книгу. Книг у меня много, на гонорары я купил дом, а за деревьями у меня следит садовник. Но что должен человек поведать в книге? То, что понял о жизни? Когда-то я был уверен, что родился для того, чтобы ответить на вопросы “Зачем живу?” и “Как устроен мир?”. Но в моих книгах вы не найдете ответа. Иначе бы их не печатали. На заре моей писательской карьеры один старый издатель, возвращая мне рукопись, сказал:

— Поймите, юноша, за свои деньги человек хочет услышать, что он не тварь дрожащая, а право имеет и звучит гордо. Вы тычете людей в их ничтожность, а им необходимо верить, что их время — лучшее из времен, и они гораздо счастливее ушедших.

— Но я пишу правду!

— Да кому нужна ваша правда!

И тут я прозрел. Я понял, что истина — это футбольный мяч, который отнимают, чтобы забить в твои ворота. Она улетает от того, кто сильнее, но и слабому не приносит ничего, кроме разочарования. И тогда я стал врать. Врал в каждой букве, врал, как дышал. Герои моего черно-белого мира были как монеты, у которых всего две стороны: кому-то выпало творить зло, кому-то его побеждать. Я завел дружбу с влиятельными литераторами, такими же бездарностями, всех хвалил, никого не ругал, заигрывал с критиками, и вскоре мои книги пробились к прилавку. Но перечитывать их для меня стало тяжелым наказанием, сравнимым разве с их написанием. Я презираю читателя, мне плевать на человечество и надоело притворяться. Здесь, в группе, мне хочется быть тем, кто я есть. Кстати, Ульяна Гроховец, от вашей истории с мулатом несет феминистской литературой».

«Иннокентия Скородума» звали Авдей Каллистратов. Он жил в доме с консьержкой, в старой холостяцкой квартире, пропахшей табаком, кофе и книжной пылью, в окружении картин и зеленевших бронзовых статуэток, подаренных благодарными поклонниками. Годы давили, как горб, и Авдею Каллистратову было все тяжелее выползать из зимы. Глядя на грачей, облепивших деревья, Авдей Каллистратов вспоминал, что Саврасов, которого он уже пережил, спился, что впереди дачный сезон, когда можно будет отдохнуть от бесконечных выступлений, звонков и змеиных улыбок. «Возьму Дашу, — думал он, — в последнее время ходит бледная». Даша была аспирантка, защищавшая диссертацию по его творчеству. Их связь длилась уже третий год, Даша мечтала о замужестве, а Авдей Каллистратов, как опытный сердцеед, поддерживал в ней надежду, которой не давал перерасти в уверенность. По-своему он любил Дашу, роман с ней льстил его самолюбию. Но его раздражала ее молодость, ее звонкий смех и беспричинное веселье напоминали ему о возрасте. Эта преграда была непреодолимой, но Даша о ней не догадывалась. Делая карьеру, Авдей Каллистратов научился скрывать чувства. А может, они давно умерли? Задавая этот вопрос, он морщился, тянулся за сигаретой и отправлялся в интернет сливать желчь. Об этом его увлечении Даша не знала. «Потом вставит в мемуары», — время от времени порывался он посвятить ее в свои тайные откровения, но каждый раз откладывал из суеверного страха приблизить это «потом».

«Думаете, мои книги хуже других? — продолжал он свою исповедь. — В юности, когда мне еще приходили подобные вопросы, я открывал современные бестселлеры, и после нескольких страниц мои опасения рассеивались. “А классика?” — спросите вы. Так со временем и я стану классиком! Или вы считаете, что в историю входят лишь гении?»

«А зачем вам известность? — спросила некая Зинаида Пчель. — Разве не для того, чтобы пропагандировать свои книги и нести Слово?»

«Слово? Какое еще Слово! Известность дает право писать всякую галиматью, чтобы критики, как в пятнах Роршаха, находили в ней гениальное. Они мастера гадать по кофейной гуще, эти критики, они-то и донесут, что достойно внимания. Так и движется литературный процесс».

«Похоже, вы просто исписались», — подвел черту под его признанием Олег Держикрач.

«Ваше право не верить мне, а мое — вам! — парировала выпад Авдея Каллистратова Ульяна Гроховец. — И что за рецепты в ваших книжонках? Каждый ведь по себе мерит: гинеколог-мужчина посоветует больше заниматься любовью, а увядшая женщина-гинеколог — стать монашкой».

«Вы известный писатель? — издевательски переспрашивал некто Сидор Куляш. — Так это всего лишь тот, кого чаще показывают по телевидению».

Это понравилось Сидору Куляшу.

«Вы отказываете читателям во вкусе? — оскорбилась Зинаида Пчель. — Уж как-нибудь разберемся, что хорошо, что плохо. Или считаете, может понравиться дерьмо?»

Прочитав ее комментарий, Авдей Каллистратов усмехнулся и тут же сочинил ответ:

«Однажды в гостях меня спросили:

— Ты копрофаг?

— С какой стати! — возмутился я.

После этого хозяева, сухо простившись, выставили меня за дверь. На другой день на работе об этом завел разговор начальник. Но я был уже настороже и ответил уклончиво. “Знаешь, я говнюков сам недолюбливаю, — похлопал он меня по плечу. — Но современный человек должен быть терпимее”. Телевизора у меня нет, газет я не читаю. А тут купил глянцевый журнал. “Десять аргументов в пользу копрофагии, — пестрели заголовки. — Копрофагия — это модно!” Я прочитал статью “Мои ответы копрофобу”. Она показалась мне убедительной. Обычно я ем дома, а тут из любопытства зашел в ресторан. Мне сразу предложили “Гуано по-тайски”, “Копро классическое” и совсем уж экзотическое “Экскременты ископаемого ящера с Островов Зеленого Мыса”. Изощряясь в эвфемизмах, официант рекомендовал “Верблюжьи лепешки” и “Овечьи кругляшки”. Я почувствовал тошноту.

— Так это же кал и навоз.

— И что? Едят же ласточкины гнезда. Важно, как подать: лягушку, червяков или стухший сыр.

А по телевизору в углу показывали ток-шоу. “Уринотерапия или копрофагия? — обращался ко мне ведущий. — Ложное противопоставление — у каждой есть свои поклонники. И это естественно, потому что каждая имеет свои преимущества”. Я заказал гуано. Преодолевая отвращение, ковырнул вилкой. Вокруг демонстрировали завидный аппетит, поглощая килограммы копро. На меня стали коситься. И мне пришлось поддержать компанию. Выйдя, я увидел мир в ином свете. “Дай волю чувствам!” — присев на корточки, призывала с рекламного щита полуголая красотка. А вскоре около моего дома открылся клуб “Геморрой”. Побывав в нем раз, я стал там завсегдатаем. Что меня привлекло? Честно говоря, я остался равнодушен к музыке “в стиле копро”, а вот стриптизерши в грязных коричневых купальниках “а ля золотарь” привлекли внимание. Классные девчонки! Я провожу вечера в их компании за блюдом превосходного копро. Так копрофагия прочно вошла в мою жизнь. Теперь в сортах испражнений я разбираюсь не хуже, чем в марках спиртного. У меня появились друзья. Нас объединила копрофилия. Мы даем отпор копрофобам, которых, к счастью, становится все меньше, и слушаем лекции по копрологии в созданной недавно “Школе стула”.

— Дамское копро — это смак! — покоряю я женские сердца. — Если у нас родится сын, мы назовем его Копронимом в честь византийского императора.

— А был такой?

— Конечно, нашей страсти тысячи лет!

Из лексикона я исключил “говно”, “гадить”, “срать”, заменив их “фекалиями” и “наложить кучу”. Что ни говори, латынь облагораживает. За “говноеда” я уже не одного привлек к суду. “Копрофагия экономична, экологична, эстетична, — просвещаю я начальника. — И кролики копрофаги. И обезьяны. Не будь консерватором, за копрофагией будущее!”

Теперь я питаюсь дерьмом.

Вы — нет?

А может, вам это только кажется?»

«Я — нет! — откликнулась Ульяна Гроховец. — И вы меня не убедили! А что, у вас все книжки про дерьмо?»

«Возможно, — подключился Модест Одинаров. — Но раз этого не осознаю, то этого и нет».

«Не ем и не буду!» — заявил Раскольников.

«Будешь, будешь, — подмигнул ему смайликом Сидор Куляш. — За обе щеки станешь наворачивать». А через час добавил: «Главное в современном искусстве — это привлечь внимание. Тогда произведение попадает историю, цена на него взлетает, хотя бы оно было и куском дерьма. Его истинная стоимость — ничто, стоимость прикованных к нему взглядов — все!»

Это понравилось Иннокентию Скородуму.

К бунтарским признаниям Модеста Одинарова Авдей Каллистратов отнесся скептически. «В офисах так не чувствуют, — скривился он, представляя одинокого бухгалтера, кормившего на бульваре голубей. — Там вообще некогда размышлять». Интеллектуальное превосходство, которое ощущал в себе Авдей Каллистратов, с возрастом вылилось в жестокую мизантропию, ему казалось, что у окружавших нет своих мыслей, а голову они носят, как испорченные, остановившиеся часы, из которых время давно вытекло. Такое же впечатление сложилось у него и о Модесте Одинарове. Авдей Каллистратов живо вообразил себе осторожного, как рак-отшельник, человека, предусмотрительно высчитывавшего последствия на много шагов вперед, так что даже книгу читавшего задом наперед — сначала заглядывая, чем все закончится, потом с чего же все началось, точно оценивая, стоит ли тратить на нее время.

Достав записную книжку, с которой не разлучался даже ночью, Авдей Каллистратов сделал литературный набросок, предполагая вставить его в будущий роман: «Эта обратная перспектива, этот обратный отсчет времени распространялся у Модеста Одинарова буквально на все — завязывая знакомство, он уже представлял, как расстанется, а приготовляя обед, думал, как тот отразится на кишечнике, и давно смирился с тем, что внимания на него обращают не больше, чем на пластмассовый стаканчик, из которого пьют в городской забегаловке».

Написав это, Авдей Каллистратов вдруг подумал, что и сам очень похож на человека в футляре. «Все выстраивают карточный домик, в котором проводят дни, — оправдывал он себя. — А чуть дунешь — он разваливается». Эта мысль пришла к нему после сообщения Модеста Одинарова о болезни, к которому в отличие от предыдущих его постов он отнесся всерьез, и которое вызвало у него сочувствие. Но чем он мог помочь?

Авдей Каллистратов вспомнил, как в юности охотился на слонов в африканском буше. На закате он выследил небольшое стадо и подстрелил молодого самца. Тот упал, но снова поднялся, жалобно трубя. Передвигаться он не мог — пуля задела позвоночник — и, мотая хоботом, топтался на месте. К нему тотчас подошли два других гиганта и, точно охранники, встали по бокам. Хлопая ушами, они старались поддержать его туловищами, пытаясь защитить от опасности, которую выискивали по сторонам маленькими злыми глазками. Так они простояли всю ночь. Наконец, на рассвете раненый слон свалился. Но и тогда его охранники не подпустили к бивням, забросав тело хворостом, точно похоронив. «Мы так же бессильны, — думал Авдей Каллистратов, щелкая мышью и закрывая сайт группы. — Несмотря на всю нашу технику, мы способны лишь оплакивать. Впрочем, мы не делаем и этого».

Он сидел в кабинете, разглядывал нависавшие, как скалы, книжные полки и, потирая седые виски, думал, что все прочитанное им относится к истории всеобщей беспомощности, а все написанное — к области праздных наблюдений. Потом позвонил Даше, услышав звонкий голос, повеселел, стал шутить, а под конец пригласил ее на авторский вечер, который должен был состояться в доме литераторов по случаю его юбилея.

Авдей Каллистратов слегка прихрамывал и на торжественные мероприятия брал трость с массивным набалдашником из слоновой кости. Из дома он вышел пораньше и, стуча тростью по тротуару, притащился на свой юбилей как раз, чтобы встречая в вестибюле, провожать в зал. В красном джемпере и потертых джинсах Даша выглядела сногсшибательно, так что на нее смотрели чаще, чем на сцену. В президиуме сидели известные писатели, за долгую жизнь научившиеся говорить с трибуны, думая о своем. Они были того же возраста, что и Авдей Каллистратов, седые, бородатые, дети одного поколения, которое никак не хотело уходить. «Куда им до старых мастеров, — косились они на молодых. — Ни глубины, ни стиля».

Зал был полон, так что Авдей Каллистратов остался доволен, выступавшие передавали микрофон, не поднимаясь со стульев, говорили о его творчестве, внесшем несомненный вклад в литературу, о том, как давно знают юбиляра, незаметно перетягивая одеяло на себя. «Помню Каллистрата Авдеева, еще зеленым юнцом, — тряс всклокоченной бородкой лысоватый старик, под которым скрипел стул. — Я тогда работал главным редактором, и он, выложив на мой стол тощенькую рукопись, небрежно бросил: “Напечатав это, вы оправдаете свое положение”. — В зале засмеялись, а Авдей Каллистратов не знал, куда себя деть. — Все мы знаем, каково писать в стол, и я решил избавить от этого юное дарование. Помнишь, Каллистрат?» Авдей Каллистратов отчетливо помнил свой визит. Он держался уверенно, потому что пришел «по звонку», а получив отказ, прежде чем хлопнуть дверью, бросил: «Под одним кресло ходуном ходит, а он и не чувствует». Через месяц его опубликовали. Взяв микрофон, Авдей Каллистратов поднялся, уронив при этом лежавшую на коленях трость, и первым делом поблагодарил собравшихся. Коснувшись вскользь своего долгого служения искусству, он перечислил собратьев по перу, скромно вплел в их список и свое имя, а потом заговорил о гражданской позиции, долге художника и национальном самосознании. Несколько раз его прерывали аплодисменты, но опытные уши Авдея Каллистратова уловили, что в зале берегут ладони. Многие в президиуме уже клевали носом, и он понял, что пора сворачиваться. «Народ, не осознающий себя, народом, обречен на вырождение, — закончил он с пафосом. — И мы, писатели, обязаны способствовать его сплочению!» На последовавшем за этим банкете все считали своим долгом обнять юбиляра, и Авдей Каллистратов, нацепив одну из своих бесчисленных улыбок, подбирал каждому нужные слова.

— Как точно ты заметил про писательское предназначение, — растрогался один его старый знакомый, зимой и летом ходивший в сапогах. — Хранить народные традиции, преумножать и…

Он на мгновенье сбился, переводя дыхание.

— И быть их верным продолжателем, — помог Авдей Каллистратов.

— Точно!

— А вы только посмотрите, что с языком нашим делают — скоро ирокезским станет! — подошел к ним другой, с рюмкой, зажатой двумя пальцами. — До чего дошло — в самый его корень, в алфавит латиница проникает! — Протянув руку, он взял со стола блюдце с нарезанным лимоном. — Представляете, видел в городе вывеску: «Зэ баssейн», с двумя кривыми «s» в середине — только перечеркни, и выйдет знак доллара!

— Глобализация, — переменив улыбку, чокнулся с ним Авдей Каллистратов так сильно, что капли перелетели в его рюмку. — Только идет она в одну сторону.

— Вот именно, что-то я кириллицу внутри слов в Америке не встречал, там не дураки свой язык убивать. — Он опрокинул рюмку, на мгновенье охрипнув. — Лимона?

Авдей Каллистратов положил в рот кислый ломтик, поморщившись то ли от него, то ли от пришедшей ему мысли:

— Скоро и Толстой станет писателем мертвого языка, вроде Сенеки.

— Не позволим! — топнул писатель в сапогах, так что каблуком едва не пробил пол. — Пока живы, не дадим в обиду Льва Николаевича!

— Конечно, — бросив взгляд на часы, рассеянно кивнул Авдей Каллистратов. — Надо что-то делать.

В тот вечер он был нарасхват и, переходя от столика к столику, набрался быстрее, чем ожидал, при всех обнял Дашу, а перепутавшего его имя старика, которому растолковали ошибку и который полез с извинениями, поцеловал в лысину. Ему казалось, что все его любят, что время на его часах идет медленнее, чем у других, так что он еще всюду успеет…

По возвращении домой Авдей Каллистратов был все еще сильно пьян. Даша поехала к себе, чем сорвала его планы, посеяв в душе смутное недовольство, и в собеседниках у него оставалась только группа.

«Народов давно нет, — быстро набросал он. — Есть потребители, которые на одно лицо, что в Европе, что в Азии. И ничего с этим не поделать! Национальная идея? К черту! Она не доводит до добра, в чем убедили две Мировые. А после атомной бомбы человечество находится на грани самоубийства, от которого его спасает лишь деградация. Кто мы? Плесень, намазанная на земной шар, как масло на хлеб. Мы — это печень, селезенка, желудок. Разве можно влиять на них? Это они существуют, это они диктуют нам правила, которые мы выдаем за судьбу. Дни мои все короче, а годы длиннее, но я по-прежнему не могу назвать дураков дураками. Почему?»

Мгновенье подумав, Авдей Каллистратов прицепил грустный смайлик и, не раздеваясь, бросился на кровать.

«Человечество, как степная трава, — отозвался Раскольников, — после пожара гуще растет. Так что войны бояться не надо».

«Мне тесно в своей стране, душно в своем времени», — признался Модэст Одинаров.

Группа была открытая, заходили в нее и тролли.

«Давно из дурки?» — написал один.

«И чё? — ужалил другой. — Теперь и не жить?»

«Хрен через плечо! — защитил его третий, выставив целый ряд смайликов. — Афтор не по-детски жжот!»

Прочитав утром комментарии, Авдей Каллистратов промолчал. Он был не силен в интернетовском новоязе и больше всего на свете боялся выглядеть смешным. Вместо того чтобы кормить троллей, он написал: «Все сегодня пишут так, будто что-то скрывают, и это что-то — ваша смерть. Ее прячут не хуже кощеевой на кончике острого, как игла, пера».

Дом был старый, в нем, как ноющие кости, по ночам пели проржавевшие трубы, а после дождя пахло сыростью. После вчерашнего банкета Авдея Каллистратова мучила головная боль, он принял таблетку аспирина и подумал, что, как и дом, давно пережил себя. Потом, чтобы чем-то заняться, заполнил личную интернет-страницу: работа — тунеядец, семейное положение — «в отношениях», политические взгляды — нигилист. Подумав немного, добавил «убежденный». Авдей Каллистратов просидел за компьютером до обеда, отлучаясь только в уборную, где старался не попасться себе на глаза в зеркале; головная боль уже успокоилась, он ждал, как лев в засаде, с кем бы сцепиться, но комментариев так и не последовало.

Кроме общения в группе у ее участников была и своя личная интернетовская жизнь. Зачастую они обновляли свой статус, не публикуя изменения в группе, заводили друзей на стороне, а в ней даже не со всеми числились в дружеских отношениях. Запросы на добавление в друзья Авдей Каллистратов систематически отклонял, считая, что с него вполне достаточно реальных знакомых, которыми был сыт по горло. Группа интересовала его лишь как трибуна, виртуальная кафедра, с которой можно в одностороннем порядке изливать желчь, а выслушивать чьи-то жалобы в его планы не входило. Его оппоненты оставались для него лишь персонажами виртуальной игры, в сущности, он не представлял их живыми людьми со своими чувствами, мыслями и болью, как никогда не задумывался о своих читателях. Первые существовали для того, чтобы слушать его речи, вторые были обречены поглощать его книги.

Пасха выдалась поздней, после церкви, в которой поставил свечи родителям, Авдей Каллистратов уехал на дачу. Природа уже буйствовала, невероятная могучая сила пробуждала все вокруг — у распустившихся бутонов кружились шмели, порхали бабочки, а между норами возле дома сновали мыши. Даша приехала через месяц, в легком ситцевом платье, с дороги свежая, порозовевшая. Авдей Каллистратов отметил про себя, как она похорошела. Держась за толстые морские канаты, он раскачивал ее на качелях, устроенных под веткой разлапистого дуба, она хохотала, взлетая все выше и выше, пока не захватило дух и не закричала:

— Хватит, хватит!

— Проси пощады! — с деланной суровостью ответил он, любуясь коленками под задравшимся платьем.

— Ни за что! — соскочила Даша в его объятия. — Сам проси, негодник!

Она крепко его обняла, и он едва не задохнулся в поцелуе. А вечером они пили чай с крыжовенным вареньем, отмахиваясь ветками от зудевших комаров, и были на седьмом небе.

Авдей Каллистратов числился литературным генералом, входил в жюри престижных премий, и к нему приезжали обсуждать их номинантов. «N или M? — перебрав список, подводил черту критик с маленькой, змеиной головкой. — За N просит Чернобай, за M — Синеглаз». Авдей Каллистратов доставал коньяк, разливал по пузатым рюмкам, и пока шло обсуждение, бутылка пустела. Они, как саперы на минном поле, осторожно взвешивали все «за» и «против», прежде чем вынести решение. При этом кандидаты находились в равных условиях, критику не захотелось тащить их книг, и они так и не открыли ни того ни другого. Проводив критика до калитки, Авдей Каллистратов долго тряс ему руку, точно скрепляя какой-то тайный договор, вернувшись в дом, убирал бутылку под стол, доставал из холодильника моченое яблоко, которое жевал на ходу, чтобы протрезветь. А потом звонил Чернобай или Синеглаз, и он понимал, что поставил не на ту лошадь. Владельцы крупнейших издательств, поделивших рынок, они учредили премии, которые давали своим — речь шла о дополнительной рекламе. После разговора Авдей Каллистратов выбрасывал огрызок, который держал вместе с телефоном в одной руке, пока другой рубил воздух, звал Дашу, выплескивая на нее раздражение, а если ее не было, залезал в интернет. В такие моменты он особенно остро чувствовал себя свадебным генералом и клял весь белый свет.

«Посмертная слава сегодня никому не нужна, всем подавай прижизненную! И памятники сегодня рукотворные, и народную тропу к ним сами прокладывают. Современная литература, как и все, делается ногами, зубами и локтями. Бегают по редакциям, хлопочут, суетятся. Тут — встреча с читателями, там — телевидение. Мы — профессионалы, нам не до музы! И десять лет писать роман нам никто не даст! — Каллистратов отбил абзац. — Музыкантам и живописцам легче — их язык не стареет, не надоедает, его можно слушать бесконечно. А книга? Одноразовый шприц! Вот издатели и задирают нос: “Евангелие-то любой напишет, а кто разнесет о нем благую весть?”»

«Тоже мне, удивил, — спустя полчаса ответил Сидор Куляш. — И Христос — брэнд, вроде кока-колы».

«Злобствующая бездарность!» — пригвоздила Ульяна Гроховец.

«Если всем недоволен, почему не бросишь?» — спросил Раскольников.

«Пойти лес валить? — ответил ему Авдей Каллистратов. — И потом — кругом дерьмо, а к своему принюхался».

«Откровенность делает тебе честь, — оценила Дама с @, с аватары которой смотрела рыжеволосая красотка. — Но ты забыл главное — слава развращает».

Авдею Каллистратову сделалось грустно. «Они не поймут, — думал он, — они не художники». Лето еще не кончилось, а его, как червь, уже точила осень — вчера Даша собирала граблями опавшие в саду листья, то и дело отправляя за уши спадавшие на глаза длинные волосы, а сегодня целый день лил дождь. Мерно стуча по крыше, он незаметно проникал внутрь, поселяясь в сердце, одновременно присутствуя и в шумах водостока, и где-то глубоко в душе. Авдей Каллистратов смотрел на сырые пятна, проступившие на обоях, и, зажмуривая по очереди глаза, видел в их очертаниях то свернувшуюся клубком кошку, то чье-то показавшееся ему знакомым лицо; переменив положение, он увидел косматого, оскалившегося медведя, потом согнувшегося в три погибели худого старика с нищенской сумой и подумал, что искусство — это способность наблюдать жизнь, по вкусу придавая ей смысл и значенье, в то время как сама по себе она остается всего лишь разводом на стене. Потом он долго смотрел, как дождь рисует струйками пейзажи на окне, которые тут же смывает, оставляя их следы лишь в памяти, куда тоже глубоко залез дождь, и ему вдруг вспомнились его книги, которые были ориентированы на непритязательные вкусы и житейскую мораль. «А она права, — неожиданно для себя согласился он вслух с Дамой с @. — С приходом известности каждая своя строка кажется гениальной».

В последнее время Даша зачастила к молодым недавно поженившимся художникам, живущим на соседней даче, и Авдею Каллистратову было особенно тоскливо. Выкурив сигарету и бесцельно потоптавшись по дому, он нашел в чате Даму с @. «Я трагически одинок!» — написал он ей. Ответ не заставил ждать: «Я тоже. Вчера лучшая подруга отказалась со мной спать. Фу, дура! Я ей ничего такого и не предлагала. Правда, у меня было такое желание. И я благодарна, что она его угадала. У тебя есть друг?» — «Подруга». — «У меня тоже есть парень. Недавно он оплатил мне Карибы. Но я тебя понимаю. Кто из вас строит стену в отношениях?» — «Я». — «Честно?» — «А зачем врать?» — «Тогда я не въезжаю, чего тебе надо?» — «Если бы я знал». Каллистратов уже жалел, что вступил в переписку, оборвать которую мешало воспитание. «Депрессуха?» — «Что-то вроде этого». — «Тогда травка. Поверь, лучшее средство». — «Ладно, пойду курну». Авдей Каллистратов был рад, что свернул разговор. А когда через час пришла Даша, посмотрел на нее другими глазами.

— У тебя есть подруги?

— Почему ты спрашиваешь?

— Просто интересно.

— Нет. Были в университете. Но ты всех разогнал.

— Я?

— Ну, ты не виноват, просто в моем сердце не так много места.

Авдей Каллистратов расчувствовался, по дряблой, обвисшей щеке покатилась слеза. Только сейчас он осознал, как много значит для него эта хрупкая девушка с умными интеллигентными глазами. Впервые он почувствовал за нее ответственность, которую раньше никогда не испытывал в отношении женщин, и вдруг подумал, что будет с ней, когда его не станет.

— Хочешь ребенка?

Даша подняла свои большие глаза.

— Останется на память, — улыбнулся Каллистратов.

Даша молча обняла его, прижавшись горячим телом.

Ночью они занимались любовью, и кровь у Авдея Каллистратова бегала по жилам, как жилец, осматривающий новый дом. А днем Даша ушла к художникам. Он проводил ее долгим поцелуем и, насвистывая, немного побродил по саду, думая, что ему повезло. Какая девушка! Чистая, неиспорченная, немного наивная. Правда, она чаще, чем бы ему хотелось, бросает его в одиночестве, но скоро ее жизнь переменится, так что пусть погуляет. Авдей Каллистратов налил себе рюмку коньяка и, не зная, чем заняться, залез в интернет. Там его ждало сообщение. «Помогло? А я вчера с тобой за компанию забила “косяк”. Может, это симпатия?» Авдею Каллистратову стало весело. «Так быстро? Разве я дал повод?» — «Дядя, о чем бы ни говорили мужчина и женщина, речь всегда идет о сексе. На аватаре мое фото. Ничего?» — «Выше крыши», — подыграл Авдей Каллистратов, отметив, что внешне Даша ей уступает. «И мне сдается, Иннокентий, ты на меня запал?» Авдей Каллистратов расхохотался. «Учти, я очень хороший, но у меня масса проблем». — «Не упакован?» — «Ты про деньги?» — «А про что же еще?» — «Как раз с этим порядок». — «Так в чем же дело? Твоя стерва? Мы можем жить втроем». Авдей Каллистратов представил Дашу. «Она не согласится. Но проблема в другом». — «В чем?» — «Этого не объяснить». — «А ты попробуй». — «Похоже, мы с тобой живем в разных мирах, и на твоем языке ее даже не сформулировать». Повисла пауза. «А че ты мне тогда по ушам ездишь? В разных мирах живем? А тремся на одном форуме». От приподнятого настроения у Авдея Каллистратова не осталось и следа. «Извини, ты права». — «Еще бы! А ты старый никчемный дурак, пропахший нафталином. Знаешь, почему я “Дама с @”? Потому что и укусить могу!» Она вышла из Сети. А Авдей Каллистратов еще долго сидел, просматривая посты, которые оставляла в группе

ДАМА С СОБАЧКОЙ

«Это чё форум анонимных лузеров? — строчила она, не соблюдая орфографии. — Типа поплачем дружно легче станет? Не станет тока жилетка будет мокрая. Пролетала как стрекоза над вашим болотом — полный отстой! И че вы ерзаете? Жизнь прикольна, вы можете трахаться, летать в самолетах, трещать по мобиле. Вы родились, и это чудо, редкая удача оказаться на этом свете!»

«А на том?» — прилепил грустный смайлик Модест Одинаров.

«И я про то же, — кивала Ульяна Гроховец. — Жизнь одна, чтобы так бездарно ею распоряжаться».

«Быть или не быть? Не тот вопрос! Как быть и с кем — об этом надо думать!» — оставил свое предложение Олег Держикрач.

Это понравилось Зинаиде Пчель и Даме с @.

«Именно “с кем”, а не “зачем”! — писала Дама с @. — А тот, кто не думает “как”, прирожденный мудак!»

«Эт точно! — не удержался Авдей Каллистратов. — Жить — классно!»

Он сидел перед монитором и всерьез думал о том, как сделать предложение Даше. Нарвать цветов? Лучше ромашек, но за ними далеко тащиться. Жениться! И как я раньше этого не понимал? Авдей Каллистратов отвернулся к распахнутому окну, в которое лезли кусты калины с красными, но уже тронутыми чернотой гроздьями. Однако полетит к черту налаженная жизнь, прощай заведенный годами распорядок. «В первую половину ведешь тот образ жизни, который во вторую ведет тебя», — пришло ему на ум. Фраза показалась красивой, и он занес ее в записную книжку. Потом снова посмотрел в окно. А тело? На погоду реагирует. Здоровье уже не то, перемены обязательно дадут о себе знать. Может, подождать? До конца лета? А к осени будет видно…

Даша вернулась оживленная, раскрасневшаяся.

— Жаль, тебя не было, такие милые люди.

— В следующий раз бери с собой.

— Сколько раз было «в следующий раз»?

Даша рассмеялась. А Авдею Каллистратову стало неприятно за свои мысли, за чуть не сорвавшееся с языка предложение, его опять раздражала эта неуемная жажда жизни, злило, что у Даши все впереди. «Зависть? — думал он. — А хоть бы и так! Не жениться же с ней». Мир принадлежал уже другому поколению, а он продолжал упрямо цепляться за прошлое, хватаясь за седло, из которого его давно вышибли. Ему захотелось отвлечь Дашу от вчерашнего разговора, заболтать, чтобы она забыла о нем и все шло как прежде. Авдей Каллистратов стал шутить, вспоминая забавные случаи своей долгой жизни.

— А знаешь, как меня дразнили в детстве?

— Как?

— Влюбликом. А знаешь, почему?

— Догадываюсь.

— А вот и нет. Просто учительница раз загадала нам загадку: «Кто бубнит, тот бублик, кто рубит — рублик, в тюбетейке — тюбик, а в юбке — кто?» — «Влюблик», — брякнул я. Так и пошло.

— Значит, ты уже тогда со словами играл. А какая разгадка?

— Поверишь, не помню! Проклятый «влюблик» все вытеснил. Может, это и не загадка была, а скороговорка.

— А может, шотландец?

— Или черт в юбке. Хотя для детей такое рановато. Замечала, в памяти часто какая-то ерунда остается? Когда меня в Африке леопард ранил, я полз к лагерю, истекая кровью. А в уме крутилось: «Голуби на дереве — к войне!». Так вот — ни как дополз, ни как меня перевязывали, не помню, а присказка эта сохранилась. Как и хромота. А зачем они мне?

Авдей Каллистратов знал, что может быть интересен, и вскоре увидел загоревшиеся глаза, которые глядели на него, не отрываясь. «По ушам ездишь… — вспомнил он. — Так это, голубушка, еще заслужить надо!» Авдей Каллистратов был в ударе, и ему казалось, что он видит жизнь насквозь, погружаясь в ее глубины, взлетая в поднебесье, откуда ничто не может укрыться. Но он не знал, что Даше известна его тайная переписка. Как-то он забыл выйти из браузера, и она, заглянув в историю его интернет-путешествий, попала в группу. Это случилось еще в городе, когда она хотела быть к нему ближе, и, зарегистрировавшись, как Дама с @ писала: «Это че форум анонимных лузеров? Типа поплачем дружно легче станет?» Отвечая Авдею Каллистратову, Даша кусала губы, роль дуры ей давалась с трудом. Молодожены-художники были в курсе ее дел, участливо предоставляя ей кресло за компьютером.

— Ах, бедняжка, какой же он все-таки негодяй, какой черствый эгоист!

— Я больше не хочу его обсуждать. Я хочу отомстить.

Художники сочувственно кивали, вспоминая ее исповедь: «Три года я потратила впустую! Целых три года! Он водил меня на поводке, как собачку, видел перед собой влюбленную дуру. А теперь он мне противен. И зачем я ему? У него же есть зеркало. Он всю жизнь притворялся, имитировал, а честным стал только в группе, из чего я заключила, что себе он никогда не врал. Искренне заблуждался? Это не про него! Разве такие заслуживают снисхождения? Я понимаю, в писательском мире по-другому не пробиться, если ты не чей-то сват-брат, надо изворачиваться, предавать? Но при чем здесь я?»

Всего этого Авдей Каллистратов не знал. «Ты изумительная, необыкновенная, — шептал он, жадно целуя волосы, рассыпанные по подушке. — Я на пике блаженства, на пике блаженства…» Он провалился в сон. И тут ему тоже снились волосы, рассыпанные по подушке, которые пахли горной лавандой и дарили ему молодость. А когда проснулся их не было, постель была пуста. «Верно, в саду», — решил Авдей Каллистратов, сладко потягиваясь. Но Даши не было и там. «Пошла в магазин». Он набрал ее номер, мобильный был отключен. «Не иначе, у художников заболталась, — раздраженно подумал он, когда она не вернулась к обеду. — Могла бы хоть позвонить». Достав вазу, он набрал в саду палых яблок и, прежде чем поставить на стол, несколько изгрыз. Постепенно его раздражение сменилось тревогой. Взяв трость, Авдей Каллистратов отправился к художникам. Звонок не работал, и Каллистратов, просунув руку к щеколде, открыл калитку снаружи. На крыльце он громко постучал тростью в дощатый пол. На пороге появилась молодая пара.

— Даша у вас? — властно спросил он, не здороваясь и не представляясь.

— Даша уехала, — в тон ему ответил муж. — Сказала, что встретила молодого человека, с которым будет счастлива.

Каллистратов онемел. Все это походило на глупый розыгрыш, сейчас из дверей выйдет Даша, и они все посмеются. От его грубой бравады не осталось и следа, он нелепо топтался, и помимо его воли на лицо наползла виноватая улыбка.

— Она… — начал он хрипло, закашлявшись в кулак. — Она ничего не передавала?

Художники смерили его взглядом.

— Она советовала вам оставить искусство, — сказал муж.

— И перечитать «Даму с собачкой», — быстро добавила жена.

Авдей Каллистратов остолбенел. Жена сощурилась:

— Хотя какой из вас чеховский герой…

— Откуда вы знаете? — взорвался Авдей Каллистратов. — И нечего на меня так смотреть!

Распрямив спину, он зашагал к калитке. «Все проходит, — собрав остатки гордости, твердил он. — И быстро». Вздохнув, он ускорил шаг, а за калиткой, перевернув трость, застучал по забору массивным набалдашником. «Кси-ло-фон, кси-ло-фон», — отзывалось у него в ушах, а когда штакетник кончился, он, размахнувшись, зашвырнул трость в овраг. С пригорка открывалось бескрайнее поле, полное солнца, гудевших пчел и пуха от облетавших одуванчиков. «И сюжет всегда один, — окунувшись в его марево, плыл Авдей Каллистратов. — Смычка, случка, стычка — смычка, случка, стычка…» Солнце зашло, а он все бродил по полю кругами, едва ворочая языком, прилипшим к засохшей гортани: «Смычка, случка, стычка…». Вечера были холодные. Укутавшись на веранде пледом, Авдей Каллистратов допил коньяк. Он точно оглох, не слыша кружившую вокруг лампы мошкару, окрики пастухов, которые щелкали кнутами, прогоняя через деревню мычавшее стадо. Он застыл в тупом отчаянии, погрузившись в особую тишину, которую рождает одиночество.

— Должна быть записка, — вдруг произнес он с пьяной уверенностью. — Конечно, должна быть.

Стукнув себя по лбу, он открыл шкаф, увидев, что исчезли Дашины платья, выбросил на кровать свои мятые костюмы, вытряхнул из серванта все мелкие вещи, перерыв их, наткнулся на ее духи, ударившие в голову запахом лаванды, и — разрыдался. Ему вдруг стал невыносим разом опустевший дом, каждый угол которого кричал о ней. Он вышел в сад, сел на качели — она была и там. Не находя себе места, Авдей Каллистратов обошел кругом дом. Казалось, сама земля, помнившая прикосновение ее босых ног, шептала о ее присутствии. Авдей Каллистратов опустился на заросшую мхом ступеньку и, глядя на мерцавшие звезды, плакал, плакал…

Забрезжил рассвет, сизое небо повисло клочками над уснувшей деревней. Горькая обида, разъедавшая Каллистратова, прошла, теперь он ясно увидел себя со стороны. Сгорбленный, с опущенными плечами, он давно проехал повороты, где мог встретить ту единственную, которая его ждала и которой теперь не будет. Он совершенно успокоился, осознав, что искать Дашу бесполезно, что в этом ему не поможет целый штат детективов, что единственный способ смириться с одиночеством, на которое обрекла его старость, это честно признать его победу, подтвердив все права над собой. Он открыл Интернет и добавил сообщение Даме с @: «Перечитай “Страшную месть” Гоголя».

Утром, собрав чемодан, Авдей Каллистратов закрыл дом, спрятал ключ на притолоке, и побрел на станцию ковыляющей походкой, точно его ноги, подгибаясь, пересчитывали прожитые дни. Он пришел слишком рано, так что, купив билет, успел еще выкурить полпачки, зажигая сигареты одну от другой, прежде чем первым автобусом уехал в город.

— В этом году вы что-то рано с дачи, — приветствовала его консьержка. — Насовсем вернулись?

— Насовсем.

Дом показался ему пустым и холодным. Чтобы быстрее к нему привыкнуть, Каллистратов тут же разобрал чемодан, повесив одежду в скрипучий шкаф, потом, листая записную книжку, сел за телефон. «Да, уже приехал. Какие новости?» «Привет, уже из города. Нет-нет, не заболел. Когда у нас ближайшее мероприятие? Увидимся». «Хочу пораньше приступить к работе, сколько можно отдыхать…»

Повесив трубку, он стал насвистывать какой-то веселый марш. Потом вдруг произнес, точно продолжая говорить по телефону: «Ничего, мы еще повоюем, все что ни делается — к лучшему!» Дернув за веревку, он раздвинул глухие шторы, с которых полетела пыль, распахнул окно, впуская свежий воздух и уличный шум. Глядя на мокрый тротуар, еще не высохший после ночного дождя, он думал, что его единственное спасение — это вернуться к прежнему распорядку, погрузиться в работу, не откладывая сев за новый роман. В приподнятом настроении он приготовил кофе, сел в кресло, и тут на глаза попалась полка с его книгами. «Ну не настолько они и плохи, раз читают». Сдвинув тугое стекло, взял одну он наугад. Мало ли что он писал про себя в интернете — недовольство собой присуще настоящему художнику. Разве оно не признак истинного таланта? Он пробежал глазами пару абзацев, пролистав, выхватил еще несколько строк, и от его настроения не осталось и следа. Книга полетела на пол, топорщась страницами, как взъерошенный воробей. Он взял следующую. Через мгновенье она накрыла первую. От растерянности Каллистратов никак не мог достать очередную книгу, стекло заело, и он стал бить ладонью по торцу. Стекло лопнуло, клинообразные осколки обнажили акулью пасть. С порезанной ладони закапала кровь, но он не обратил внимания. Третья, четвертая… Гора на полу росла, пока полка не опустела. Авдей Каллистратов беспомощно опустился на сваленные в кучу книги и дико захохотал…

Премию вручали ранней осенью. На награждении были Чернобай и Синеглаз, раздававшие похвалы жюри за выбор лучших, а в президиуме, передавая микрофон, долго распространялись о лауреатах, подчеркивая несравненные достоинства их книг.

— Это современная проза, — шамкал лысоватый старик, перепутавший на юбилее имя Авдея Каллистратова. — Настоящая современная литература. — Он многозначительно замолчал, давая понять: он вкладывает в слово «современная» больше того, что представляемые авторы еще живы.

— Мы оценивали только текст, — вертел змеиной головкой критик, приезжавший к Авдею Каллистратову на дачу. — Только художественность и мастерство.

В зале сосредоточенно молчали, ожидая объявление победителя, но в жюри все тянули и тянули. Невзирая на нетерпеливый скрип стульев, говорили о великой силе искусства, возрастающей роли слова, при этом каждый из выступавших не преминул напоминать о себе. Авдей Каллистратов равнодушно обводил взглядом зал, механически кивал, замечая знакомые лица. Он вполуха слушал привычные речи, изредка аплодировал, а сам думал о том, почему всю жизнь писал бог знает о чем, но не о том, каким увидел мир, куда пришел, и теперь его впечатления останутся тайной, которую он унесет с собой. Оставить слепок своего времени — может, в этом было его предназначение? Может, для этого он и родился? Когда до него дошла очередь выступать, он долго молчал, перебирая пальцами провод от микрофона.

— Говори же, — с недоумением толкнули его в бок.

— А что говорить? — хрипло произнес он. — Что вы лжете? Что мы все здесь мертвые души?

Динамик разнес его слова по залу, и, когда Авдей Каллистратов, обхватив голову, шел к двери, стояла гробовая тишина.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ

Человека под ником «Раскольников» звали Захар Чичин и он был наемным убийцей.

«Жена и дети считают меня бизнесменом, — писал он. — У меня действительно есть сыскное агентство, и, служи я государству, то числился бы героем. Такие есть во все времена — в конце концов, люди всегда сводят счеты, как Каин с Авелем, а я лишь оружие, которое выбирают. Может ли оно быть виноватым?»

С аватары Захара Чичина смотрел окровавленный топор, а на его личной странице значилось:

«Родион Романович Раскольников, год рождения: 1866, религиозные взгляды: “Бог — это дьявол”, политические — “право имею”».

«О законе говорят, когда хотят запугать, — продолжал он. — К совести взывают, чтобы ослабить. Куда плывет наш корабль? Мы рождаемся, влюбляемся, стареем, из трюма стремимся на палубу, а потом умираем. Тогда нас выбрасывают за борт. Мой дед погиб на фронте. Бабка оплакивала его в одиночестве, не получив за него пенсии. А сейчас правят внуки тех, кто не воевал, кто пас в горах овец или сидел в лавке. Зачем им чужие предки? Мой отец честно трудился, а к старости не скопил на больницу и умер, потому, что ему не сделали операцию. Все каюты на корабле открывает золотой ключик, а как его достают — спросу нет. Но больше рта не проглотишь, больше желудка не переваришь, и лишнего я не беру. Искать меня бесполезно, я пользуюсь разными Интернет-кафе, а живу в далекой стране, так что мои дела вас не коснутся.

Зачем я откровенничаю? А зачем откровенничает Иннокентий Скородум? Или Модест Одинаров? К нему только приблизилась смерть, а со мной она постоянно».

Комментарии не заставили себя ждать.

«Так и со мной смерть постоянно, — признался Иннокентий Скородум. — Ночами кричу от страха, кажется, мы с ней под одним одеялом. А Земля — это корабль-призрак, летучий голландец…»

«Если это розыгрыш, то глупый, — написал Сидор Куляш. — А если откровения киллера, из них можно было бы сделать сенсацию. Лет сто назад».

«Будете флудить, вас забанят», — пригрозил администратор.

«А сколько стоят ваши услуги, Раскольников? — заинтересовалась Дама с @. — На свете столько мерзавцев».

«Совершенно согласна! — откликнулась Ульяна Гроховец. — Когда меня отфутболивает чиновник, мне хочется всадить ему пулю в живот. И смотреть, как он корчится. Смотреть молча, жадно, сладострастно!»

«Все закладывается в детстве, — вынес приговор Олег Держикрач. — В вашем было явно что-то не так».

Прочитав его комментарий, Захар Чичин вспомнил себя ребенком. Он жил тогда в пыльном южном городке с базарной площадью, в которую упиралась единственная улица, круто забиравшая к морю, и песчаной косой, далеко вдававшейся в залив. Цыгане продавали там на базаре животных блох, завернутых в хлеб, который принимали от золотухи, а эвкалипт, сбрасывавший летом кору и стоявший голым, называли «бесстыдницей». Родительский домик с каштаном во дворе, под которым спозаранку горланил петух, ютился на отшибе, отделенный от моря пригорком, и Захар вместо колыбельной слушал доносившийся издалека шум волн. Летом родители сдавали комнаты, перебираясь во флигель, и Захар привык, что люди вокруг менялись, навсегда исчезая, будто умирали, он легко сходился и так же легко расставался. «С глаз долой — из сердца вон», — поучала его бабка, на войне потерявшая мужа и проводившая старость в кресле под каштаном со спицами в руках.

— Бабушка, расскажи мне про деда, — просил ее Захар, свернувшись, как кошка, у ног.

— А что рассказывать? О живых надо думать, мертвые сами о себе позаботятся.

И Захар рано осознал, что на свете ничто не вечно. А людская память — и подавно. Он рос сорванцом с вечными ссадинами на коленках, которые мать, придерживая его за талию, пока он нетерпеливо переминался, смазывала зеленкой, и с пронзительным ломавшимся голосом, раздававшимся то в одном конце улицы, то в другом. «Рыжик, ко мне! — звал он щенка вислоухой таксы с вечно вилявшим хвостом. — Когда вырастем, возьму тебя на охоту». Он ласково трепал собаку, представляя, как она будет вытаскивать из нор сусликов, а потом бегал с ней наперегонки по улице, поднимая облака пыли. Но Рыжик так и не вырос. В то жаркое лето, когда пасеки ломились от меда, его укусила пчела. Его нос мгновенно распух, и все короткие полчаса, пока не началась агония, он знал, что умирает, беззащитно жался к Захару, и в его глазах стояли слезы. Плакал и Захар.

— Рыжик, Рыжик, — прижимал он щенка. — Ты только не умирай, мы еще пойдем на охоту.

— Отойди, — сурово сказала бабка, — его уже не спасти.

В ту ночь Захар долго не мог уснуть, а во сне видел морской берег, после шторма пахший мертвой рыбой, выброшенной на отмель, он носился босиком по раскаленному песку, загребая ногами бурые водоросли, сохшие на солнце, и швырял Рыжику теннисный мяч, который тот возвращал в зубах. Мертвый Захару снился в первый и последний раз. Потом у него были другие собаки, но их смерть он переносил с полным равнодушием. И на другой день Захар, точно повторялся его сон, пошел на море, пахшее после шторма бурыми водорослями. На берегу было много медуз — распластавшись на солнце, они медленно плавились, растекаясь по песку, на котором оставляли мокрые пятна, и Захар долго наблюдал их молчаливую смерть.

Учился он плохо, уроков не делал вовсе, и бабка не успевала вязать носки, которые он быстро дырявил, бегая по скрипучим половицам. Дом к этому времени опустел, его больше не сдавали отдыхающим — мать Захара сбежала с одним из жильцов, все лето смешившим его чудным, нездешним выговором, и теперь, присылая деньги, прикладывала письмо с одними и теми же словами: «Люблю, скучаю, скоро увидимся!», а отец, поначалу было запивший, зачастил к овдовевшей соседке. «Ты заходи, Захарушка, — перевозя к ней вещи, погладил он сына шершавой ладонью. — Мы же от тебя рукой подать». Это «мы» резануло Захара, он понял, что у отца теперь другая жизнь, и, запершись в пропахшем луком чулане, выплакал в темноте все глаза. Вдова жила в тенистом доме через дорогу, которая быстро превратилась в пропасть — у покосившегося палисада Захара встречала женщина с тонкими злыми губами, молча провожала к отцу, а потом, уперев руки в бока, вставала у двери. Но вскоре Захар выбросил из памяти и ее сверлящий взгляд, и неловкую растерянность отца, не знавшего, куда деть за столом свои большие руки, и миску супа, от которой отказывался, тряся вихрастой головой. «Будь как ветер, — долгими зимними вечерами, когда по крыше хлестал дождь и выйти за порог было, как в открытый космос, кряхтела постаревшая бабка. — Кто не привязывается, тому легче выжить».

В интернет-группу Захар Чичин попал случайно. Получив рассылку, он собрался пометить его как спам, но вместо этого ошибочно открыл. Первое, что бросилось в глаза, было сообщение Модеста Одинарова, описывавшего свое происшествие с собачником. «Ничтожество», — расхохотался Захар Чичин, представив на его месте себя, и, не удержавшись, посоветовал убить собаку вместе с хозяином. Больше из суеверия, чем из осторожности, он подписался Раскольниковым, о котором читал на зоне. С тех пор его тянуло на этот сайт. Он даже думал, что допустил ошибку не случайно, а по воле свыше, и позже, исправляя личную страницу, написал, что верит в ангела-хранителя, а учился в «жизни».

Прочитав комментарий Иннокентия Скородума о смерти, которая по ночам забирается под одеяло, Захар Чичин усмехнулся. Что может знать этот писатель, который трясется за свое положение, считая, что дожить до старости — большое искусство? Для него оно укладывалось в три «не»: не спиться, не повеситься, не сойти с ума. Разве он знает, что значит выжить? Выжить любой ценой! И Захар Чичин вспомнил свою первую кровь. Он пролил ее в армии, куда его призвали после школьной скамьи, отправив в горы, где стрелять из автомата учатся прежде, чем говорить, а охотничье ружье презрительно зовут «ружбайкой». «Ма-ма!» — первое время звал он во сне, смеша всю казарму. Солдаты в горах были пушечным мясом, которое исправно поставляли вертолеты с равнин. Они не должны были ценить жизнь: ни свою, ни чужую. И чем быстрее они это понимали, тем больше шансов у них было вернуться. Ночами было холодно, луну лихорадило, и она зыбко качалась над сумрачными вершинами, покрытыми елями, в которых протяжно выли волки. И Захар Чичин снова чувствовал себя ребенком: разбивая в кровь коленки, с автоматом наперевес бегал по «зеленке», пугаясь скрипевших на ветру сосен, а при малейшем шорохе выпуская в заросли всю обойму. Их сержант, сутулый жилистый гуцул с вислыми усами, был прирожденным убийцей. «Война — мать родна, — приговаривал он, подбрасывая в костер хворост крепкими, как плети, руками. — Она победителей любит, так что вкалывайте, сосунки, будете еще на гражданке сопли жевать, если доживете». «Война всегда поражение, — думал Захар Чичин. — И она никого не любит».

Раз отделение заняло дом, из которого вели огонь, и сержант, словно не замечая ни сваленных в углу детских вещей, ни семейных фотографий, развешанных по стенам, приказал расстрелять хозяина.

— Я не могу, — дрогнул голос у Захара Чичина.

Сержант передернул затвор:

— Учти, за невыполнение…

Захар не шелохнулся.

Глаза у сержанта превратились в бритвы:

— Его по-любому грохнут, хочешь дорожку показать?

— Но почему я?

— Когда-то надо начинать, сосунок. А замараться не бойся, на войне чистенькие только жмурики в морге.

Хозяина вывели во двор. Пахло сыростью, над домом висела багровая луна.

— Вот она какая, дверь в рай — без петель, — прохрипел он, вставая к стенке.

— А какая в ад? — не удержался Чичин.

— На раскаленных крючьях, — оскалился горец. — И на ней по-гяурски написано «Добро пожаловать!».

Вернувшись в дом, Захар Чичин устало доложил:

— Сделано.

— Ему же лучше, не увидит, — усмехнулся сержант, указав на дверь, за которой насиловали дочерей горца. — Иди, там всем хватит.

Хозяин дома провожал отделение с немым укором — окровавленное тело так и бросили у стены. А потом были другие, мужчины и женщины, чужие и свои. Были цинковые гробы, которые отправляли на вертолетах обратно на равнину, были подорвавшиеся срочники, останки которых разлетались по минному полю, были контрактники, истерзанные в плену до неузнаваемости, а горцев, закопанных в ельнике, и не сосчитать. Выжить! Выжить любой ценой! «Все дело в привычке, если за тридцать перевалило, а за плечами ни одного жмурика, пиши пропало, — мрачно ухмылялся сержант. — Горячиться будешь, кудахтать, а рука не поднимется». Он говорил, что сосункам еще многому надо научиться, а сам мог, чуть расставив ноги, помочиться на ходу и, плюнув, как верблюд, попасть собеседнику в глаз, убежденный, что попавший плевком попадет в него и пулей. «Ты пойми, время у нас по-разному идет, — признавался он через год Захару, заглядывая в глаза с непривычной нежностью. — Вы, срочники, отбарабаните свое и по домам, а я останусь. И сколько протяну неизвестно. — В его голосе звучала грусть. — Так что для вас, пока мы вместе, это ад, который надо перетерпеть, а для меня, у которого впереди ничего, золотые денечки».

Стоял Захар Чичин и со свечой в церкви, куда солдат согнали на Рождество. Они толпились у освещенного алтаря, жались к деревянным стенам, помещение тесное — не продохнуть. Запах сапог и пропотевших шинелей смешивался с запахом ладана, теплом оплывавших свечей. Осторожно переминаясь, солдаты косились на темневшие по сторонам лики угодников, задирая голову к потолку, глядели на Спасителя посреди облаков, благословлявшего их сведенными перстами. «Кто за други свои живот положил, тот душу сберег», — размахивая кадилом, гудел молодой конопатый батюшка. «Не бояться, не беречься, не ныть» — по-своему понял Захар Чичин. Из армии он вынес отношение к жизни как к чему-то временному, данному в долг и человеку не принадлежащему, и был готов с ней расстаться в любое мгновенье.

За неделю до дембеля его с сержантом послали в разведку. Их засекли в чахлом кустарнике, открыв пальбу, прижали к реке. Они отстреливались до последнего, но их обложили крепко, к тому же сержанта ранило. Выжить! Выжить любой ценой! И когда Захар Чичин заметил в кустах утлый одноместный челнок, прыгавший на волнах — течение было сильным даже у берега, — он не колебался.

— Давай, сосунок, не тяни, — прохрипел сержант, увидев направленное дуло.

— Не могу, отвернись…

Грохнул выстрел, и Захар Чичин, оттолкнувшись шестом, вырулил на быстрину. В части Захар Чичин сказал, что сержанта подстрелили горцы, а он, добравшись вплавь до камышей, просидел там, пока не стемнело. Про челнок, который он отпустил по течению, Захар Чичин умолчал. Придуманная впопыхах история выглядела неубедительно, и, когда подозрения взяли верх, его судили. То, что пуля у сержанта вошла в затылок, уликой не сочли. «Кто выжил, тот свое и докажет, — твердил про себя Захар Чичин. — Виноваты мертвые, а живые всегда правы». Но когда ему предъявили обвинение в том, что он бросил командира, у него не выдержали нервы.

— Слышь, браток, — как-то вечером подозвал он сменившегося караульного. — Дай закурить, сил нет, хочется.

— Не положено.

— А трупы в лесу зарывать? Без документов?

Караульный смутился. Он был «черпак», первого года службы, и в него вбили страх перед дембелями.

Звякнул замок, дверь со скрежетом отворилась. Захар Чичин прежде сунул в зубы сигарету, прикурил, держа огонек в ладонях, а потом выбросил спичку, этим же движением вырубив караульного. Он ударил его по шее ребром ладони, и тот, схватившись за горло, медленно осел с лицом обиженного ребенка. Мгновенье он застыл на корточках — Чичин свалил его кулаком на холодный земляной пол. Движения Чичина были расчетливы, как и его мысли. Он не спеша докурил сигарету, потом взял следующую. Он ждал. Припав ухом к земле, слушал шаги в коридоре. Наконец из караульного помещения донеслись приглушенные голоса — там по обыкновению, сменившись у камер, сели играть в карты. Обыскав отключившегося охранника, Чичин прихватил его оружие и прополз по коридору мимо решетчатых окон, двери в «караулку», пластаясь по стенам, тенью выскользнул в сгустившийся сумрак. С месяц шлялся по горам, где устраивать погоню значило проводить войсковую операцию, правильно рассчитав, что на него махнут рукой. Питался ягодами, дождевыми червями и мелкими грызунами, которых, опасаясь разводить костер, ел сырыми. Все люди были для него врагами, а встречи с горцами он боялся больше, чем с армейскими патрулями. Плена бы он не выдержал, решил, что скорее застрелится, чем станет терпеть издевательства в глубокой земляной яме. Ночами Чичин пробивался козьими тропами к «железке», а днем отсыпался в волчьих норах, которые забрасывал валежником. На станции, в сотне километров от места своего заключения, он оглушил в туалете какого-то пассажира, ударив рукоятью пистолета, вытащил у него билет, запрыгнул в поезд. Он трижды менял направления своего следования. За это время он страшно осунулся, у него отросла борода, сделав его неузнаваемым. Он посчитал, что все худшее уже позади, когда его поймали, сняв с поезда в двух шагах от родного города, куда он добирался. Его узнал однополчанин, отслуживший с ним срок и теперь демобилизовавшийся.

— Не выдавай, — просил его Чичин. — Два года же корешились.

— Корешей не сдают, — кивнул тот и его глаза сузились. — А вот ту гниду, которая нашего сержанта завалила, — с удовольствием.

Чичина взяли и судили уже за дезертирство.

Тюрьма, где он находился под следствием, была в соседнем городке. В забитых до отказа камерах спать приходилось по очереди, деля одну шконку, а правили блатные.

— Я еще не выспался, а будешь мешать, прирежу, — показал ему заточку синий от наколок сокамерник. Плюнув на ладонь, Захар Чичин смешал со слюной хлебный мякиш, не спеша залепил дверной «глазок», и, обернувшись, произнес всего одно слово:

— Попробуй.

Он стоял с опущенными руками, и в его взгляде читалось презрительное равнодушие.

— А ты наш, — оскалился блатной, блеснув золотой фиксой. — Тебе тоже жизнь опротивела.

Среди заключенных свирепствовал туберкулез, сухой кашель не стихал ни днем, ни ночью, но к нему привыкли, как к стучавшему за окном дождю. На последнем этаже помещался тюремный лазарет, откуда каждый день на шерстяных нитках из расплетенных носок спускали «малявы»: «Помяните раба Божьего такого-то!» Захар Чичин забывал имя, едва записку прочитывали. Однако иногда вспоминал раннюю юность — городской парк, горький запах миндаля, чувствовавшийся к вечеру особенно остро, молоденькую девушку с родинкой на щеке, которая, сев после танцев на лавочку, губами достала его первое семя, пока он замер, не видя ничего вокруг. Где она? Что с ней стало? Но Захар Чичин не давал хода этим мыслям. «Было и прошло, — повторял он. — Забыто-забито, быльем поросло». Он относился к прошедшему, будто к увиденному во сне. А кто после пробуждения ищет встречи с его персонажами?

В интернет-группе он посоветовал Модесту Одинарову застрелиться, если болезнь окажется смертельной, а в тюрьме твердо решил размозжить голову о стену, если подхватит туберкулез. Но все обошлось, не считая двух лет колонии, которые он получил за дезертирство из армии. За колючей проволокой он научился держать ложку за голенищем, по-цыгански прятать бритву во рту, а зубы чистить пальцем, выдавливая на него пасту.

«В литературном мире, как на зоне, друг друга знают в лицо, — кокетничал в группе Иннокентий Скородум. — Но в отличие от зоны исповедуют стиль легкой необязательности».

«Что он знает про зону?» — подумал Захар Чичин. Ему хотелось описать свои жестокие, серые дни, когда наряд на кухню считался праздником, выделяясь среди будней, как воскресенье на неделе. Но кто это поймет? Жалкий писатель? И он сдержался.

На зоне Захар Чичин был смел и пользовался авторитетом. Он жил по понятиям и не любил беспредел. Зато и своего не упускал. Для него в жизни все было ясно, потому что не было времени ее осознать, дав волю сомнениям. Жизнь для него мчалась, как поезд, а он сопровождал ее кондуктором, не задававшим вопросов, ни куда она движется, ни кто у нее машинист. И все же, ломая кости на жесткой деревянной шконке, он иногда задумывался, как устроен мир, для чего он в него пришел и почему должен будет уйти. «Все знают, как выживать, — чесал он лоб с наметившимися залысинами, — а как жить — никто не знает». «Слышь, браток, — толкал он в бок храпевшего соседа. — Может, мы и наяву только спим?» Он знал что безмерно уставший за день сосед не проснется, но ему хотелось высказаться. К тому же его раздражал этот животный храп, вызывавший черную зависть, ему хотелось вторгнуться в чужие сны, разрушить их, как кто-то посторонний ломает сон его жизни, он повторял свой вопрос до тех пор, пока не слышал в ответ уже тихое сопенье, под которое засыпал. А потом наступало утро с окриками охранников, грызней за кусок мыла и очередью к нужнику. Окуная в свой дежурный распорядок, оно требовало действия, прогоняя отвлеченные мысли, как ночной туман, и представляя жизнь вечным кораблекрушением, когда надо успеть забраться в спасательную шлюпку, чтобы не утонуть на глазах у насмешливых счастливцев, занявших твое место.

В колонии Захар Чичин переписывался с девушкой, которая обещала его ждать, и он твердо решил на ней жениться. Она рассказала, что совсем недавно окончила школу, работает продавщицей в сельском магазине, и призналась, что мечтает завести детей. Захар честно поведал ей про свое одинокое детство, пыльный южный городок с базарной площадью, цыганами, продающими дрессированных блох, и эвкалиптами, бесстыдно сбрасывающими кору, он рассказал про армейскую службу в горах, где поневоле становятся героями, если не погибнут, но про историю с сержантом и про зарытые в лесу трупы умолчал. Его бабка к этому времени уже умерла, а отца с матерью он мысленно давно похоронил, считая себя сиротой. С учетом месяцев, проведенных в тюрьме, срок пролетел незаметно.

— Ты мне писал, — встретила его у ворот девушка, которую он с трудом узнал по фото.

— А ты отвечала, — поставив на землю чемодан, обнял он ее. — Знаешь, одинокий, как пугало, держится на палке. А женатый стоит на двух ногах. Где тут ближайший ЗАГС?

Поженившись, поехали к жене, в большой светлый дом, своими скрипами напомнивший Захару Чичину детство. Над дверью он прибил на счастье подкову, а все углы в комнатах, как учила бабка, обрызгал уксусом от бесов, и только после этого на руках внес жену через порог. Скрыв судимость, Захар Чичин устроился охранником в банк, обзавелся вскоре знакомыми, а со своим напарником, ровесником, недавно вернувшимся из армии, сошелся особенно близко.

Жизнь, казалось, налаживалась, оставляя все беды в прошлом. Жена Захару Чичину попалась работящая, с крестьянской хваткой и уверенностью, что раз она вышла замуж, то жизнь удалась. По воскресеньям, нацепив платок, она тащила мужа в храм, где, выстаивая службу, он опять, как в армии, когда их привели на Рождество в церковь, смотрел на темневшие по углам лики святых, задирая голову, видел нарисованного под куполом Бога, среди облаков поднявшего руку в крестном знамении, и думал, что любить ближнего, как самого себя, невозможно, — не выживешь. А разве не Бог создал мир, в котором каждая тварь жрет другую? Бога Захар Чичин не любил, но не держал на него обид — его мир таков, каков есть, значит, ему бессмысленно молиться, его бессмысленно проклинать, а надо лишь исполнять его главную заповедь — выжить. В загробное существование Захар Чичин не верил — слишком много он повидал смертей, но жену не осуждал. Вспоминая свое сиротство, он видел в ее вере что-то детское, неизжитое — наивное желание иметь отца, который защитит, когда придет время выключать свет. Жена была крупная, у нее были налитые груди, а рожала она молча, сцепив зубы, не ложась в больницу, так что Захар Чичин вместо акушерки принимал роды на дому.

— Ну, Захар, обложили тебя конкретно, — сказал раз напарник, с которым они выпивали после работы. — Будешь всю жизнь на потомство горбатиться.

— Так природой заложено.

— Бабской, Захар, бабской. А мы-то здесь при чем? Сами ничего не видели, а вон уж и спиногрызы повисли. Нет, это не для меня, я красиво пожить хочу. Главное, денег раздобыть.

— Ясное дело. А как?

— Да хоть бы наш банк грабануть.

— А после — в бега? Меня уже раз ловили.

— Так ты можешь остаться, а меня здесь ничего не держит. — Напарник разлил бутылку. — Я сам все сделаю, мне бы только не мешал, а? А я б тебе потом отстегнул. Ну что, кореш, за успех?

— Рехнулся? Знаешь, сколько я таких архаровцев повидал…

— Ну, тогда за семью!

Они чокнулись и, посидев еще с час, разошлись. К разговору больше не возвращались, но в глубине Захар Чичин видел, что жена сделала из него подкаблучника. С рождением второго ребенка денег стало не хватать, и начались скандалы. Захар Чичин ломал голову, у кого еще занять, с женой его роднила уверенность, что мир прост, как огород, который засыхает без золотого дождя, и вырастают на нем тогда одни сорняки.

— И это все? — угрюмо пересчитывала жена его зарплату. — А чем я буду вас завтра кормить?

— Коровьим дерьмом! — взорвался Захар Чичин и, заткнув уши, выбежал из дома.

Жена с тех пор притихла, только, давая грудь новорожденному, что-то бубнила под нос. Одновременно она качала ногой колыбель со старшим ребенком, и у глядевшего на нее Захара Чичина разрывалось сердце. А однажды в обед она поставила на стол пустые тарелки.

— Накладывайте сами, — обратилась она к мужу на вы. — Я есть не буду.

— Как хочешь, — зло бросил Захар Чичин.

Он потянулся к стоявшей на плите кастрюле, но та оказалась тяжелой — под крышкой в ней вместо супа лежали камни.

Дождавшись на другой день закрытия банка, Захар Чичин тронул напарника за плечо: «Не уходи, обмозговать надо…»

Обмозговали они на пять лет. Сказавшись больным, Захар Чичин ушел с работы раньше, и непосредственно в ограблении не участвовал, но свою долю взял, к тому же всплыла прежняя судимость.

— Нелепо ты, парень, сел, — выслушал его историю начальник лагеря, которого на днях бросила жена. — Выходит, тебя тоже баба сгубила. Слушай, а ты книжки любишь?

— Читать?

— Ну не писать же, — расхохотался начальник.

Выйдя из кабинета, Захар Чичин перекрестился: на этот раз ему повезло больше — в колонии он занял место библиотекаря. Зэки читали мало, зато любили слушать, и Захар Чичин получил погоняло Радио, за то, что пересказывал вечерами книги, которые, слюнявя палец, перелистывал днем. «Старуха была дрянью, — пересказывал он роман Достоевского. — А студент мучился с непривычки, ему бы продолжить». Он смотрел поверх голов и вспоминал вислоусого сержанта, учившего, что все дело в навыке, а чем раньше совершено первое убийство, тем лучше. Слушая его рассказы, зэки горячились, спорили, и, глядя на них, он думал, что выдумка может стать правдой, если побуждает к действию. Но при этом все равно останется ложью.

Один раз написала жена. Винилась, умоляла простить — «довела тебя, дуралея, если бы только знала!», интересовалась, вспоминает ли детей, думает ли о том, что с ними будет, причитала, доверяя слезы бумаге, — бедная я, бедная, опять колония, что же, теперь только адреса будут меняться? За что такая судьба? А под конец спрашивала про деньги, не вышлет ли: «Ведь вы хоть немного, а зарабатываете?».

Жена взывала к жалости, пытаясь воскресить в его памяти картины семейной жизни, но Захар Чичин уже отрезал прошлое.

«Рожать преступление, — разорвал он письмо, — потому что жить — наказание».

Это произошло еще в первый год колонии, а потом от жены не было ни слуху ни духу. Так что про жену с детьми, которые считают его преуспевающим бизнесменом, Захар Чичин в группе солгал. Из лагеря он к ним не вернулся. Лет ему было тогда, сколько букв в русском алфавите, а зубов во рту оставалось, сколько в английском.

«Сколько стоят ваши услуги?» — прочитал он вопрос Дамы с @. И вспомнил, как удивился, когда узнал цену того, что раньше делал бесплатно. Это случилось в лагере, когда раз в каптерке, где смолили собранные за день окурки, он неожиданно для себя поведал о своих военных подвигах. Это дошло до смотрящего за зоной. Так, выйдя на свободу, Захар Чичин нашел свое место. Работа была привычной и прибыльной. «В масть попал, — сплевывал он, боясь спугнуть удачу. — В цвет». Со временем Захар Чичин стал профессионалом, высоко ценившимся в своих кругах, так что, советуя Модесту Одинарову расправиться в подъезде с нагловатым начальником, он действительно мог научить, как это сделать. К своим жертвам, которых называл «мешками», Захар Чичин относился с тупым безразличием, считая, что он всего лишь орудие, вестник, вроде почтальона, и если не он, то за ними придет другой. Так устроен мир, в котором никто не виноват и в котором главное — выжить. Захару Чичину хотелось донести эту правду до тех, кто не испытал и сотой доли его страданий, не проник и на сотую долю в суть вещей.

Дом ему заменили гостиницы, куда он вызывал девушек, ставших для него на одно лицо, заказывал им потом через метрдотеля такси и забывал о них, едва закрывалась дверь. Их имена, лица, смех, записанные в трухлявую книгу его памяти вместе с тысячами других событий, тотчас стирал ластик безграничного отчаяния, бывшего, однако, тайной для него самого. Заказы он получал в интернете, где вместе с фотографией указывался адрес, по которому ему следует наведаться, там же в интернете через электронный кошелек с ним и расплачивались, так что риск быть пойманным сводился к нулю. Да и кому он был нужен? Зачем было его искать? Для этого он был нужен слишком многим. Захар Чичин поседел и, глядя на шевелившиеся в темноте занавески, видел уже другой берег, на котором мысли станут излишними, а все вопросы получат ответы.

В группе к его откровению отнеслись по-разному.

«Хоть я и не Станиславский, а не верю!» — еще раз прокомментировал его пост Сидор Куляш.

«Значит, ты у нас прям убивец-убивец? — издевалась Аделаида. — Ах ты противный, так мы тебе и поверим!»

«А я верю!» — возразила Дама с @.

«Вы еще на ромашке погадайте!» — ответил им Раскольников.

Была ночь, и в интернет-кафе Захар Чичин сидел один. Он пил кофе с коньяком, читал на экране комментарии, и представлял своих оппонентов. Они казались ему стерильно вымытыми, со свернутой в трубочку судьбой, которую держали подмышкой, как банный веник. Ни жизни не знают, ни смерти не ведают, думал он, помешивая ложкой кофе, приспособились к тесным клеткам своих квартир, теплым гальюнам и ноют, как болотные выпи, считая, что на них мир клином сошелся. В гостиницу Захар Чичин решил вернуться утром, а пока, усмехнувшись, поведал про убитого сержанта с вислыми усами, рассказал о «зоне», где научился варить чифирь и держать язык за зубами, потому что от одного слова зависела жизнь, а под конец подробно описал, как застрелил политика, о котором писали газеты.

«По-вашему, такое можно придумать?»

На несколько часов повисла пауза.

«Господи, с таким даже рядом стоять неприлично! — написала утром Зинаида Пчель. — Куда смотрит модератор?»

«Или я или он!» — предъявила ультиматум Аделаида.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА КАЗНЬ

Прошли сутки. Администратор молчал, зато ответил Раскольников:

«Ах, так вы боитесь замараться? А чем я хуже вас? У каждого своя работа, каждый выживает, как может, а зачем — не знает. Как говорят в американском кино: “Мы хорошие парни, которым приходится жить в плохом мире”. И разве все не делается ради денег? Вот не далее как вчера мне поступило предложение. Бизнесмен “заказал” брата. Думаете, не поделили женщину? Или не стерпел оскорбление? А может, зависть? Если бы! Причиной, как всегда, оказались деньги. Теперь у меня три возможности. Выполнить контракт и получить гонорар. Взять на себя роль судьи, отправив на тот свет “заказчика”. Или устраниться. В последних двух случаях я теряю деньги. Готовы ли вы мне их компенсировать? Сколько стоит ваша мораль?»

Первым не выдержал Олег Держикрач:

«Кем вы себя возомнили, Раскольников? К чему весь этот спектакль? Вы что, эксгибиционист? И чего вы, собственно, добиваетесь?»

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Зинаиде Пчель.

«Он маньяк, помешанный на деньгах!» — добавила Аделаида.

Захар Чичин промолчал.

«Раскольников уже вырыл топор? — приписал через час Сидор Куляш. — Он вышел на тропу войны? Или занялся троллингом?».

«Могу выложить видео, — осадил его Раскольников. — Когда “Авель” будет уже мертв».

«Что вы хотите доказать, Раскольников? — опять гнул Олег Держикрач. — И кому? Себе? Нам? Поймите же, наше поведение вас никак не оправдает». Слово «никак» было выделено.

«Оправдания теперь нужны вам, — так же выделил «вам» Раскольников. — И вы их уже подбираете».

Это стало последней каплей.

«Подонок! — прорвало Зинаиду Пчель. — Убийца!»

«Мразь!» — подтвердила Аделаида.

«Дурной детектив, — написал Иннокентий Скородум. — Однако о какой сумме идет речь?»

«А во сколько вы оцените жизнь?» — вопросом на вопрос ответил Раскольников.

«Кто сообщит полиции? — спрашивала через три часа Ульяна Гроховец. — По-моему, это обязанность администратора».

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Степаниде Пчель.

Раскольников держал удар.

«Ульяна Гроховец выбрала первый вариант, кто еще? — холодно осведомился он. — Те, кому понравилась ее идея?»

Иннокентий Скородум и Степанида Пчель промолчали. Зато прорезался Модест Одинаров.

«Я оставлю вам наследство, — предложил он. — Подождете?»

«Вот это уже кое-что. Но, увы, не в моих правилах ждать. Я беру сразу, поймите, все под Богом ходим».

«Круто, Раскольников! — восхитилась Дама с @. — Теперь мы что, соучастники?»

«В каком-то смысле. Сокрытие готовящегося преступления. Но толковый адвокат легко вас отмажет. Для правосудия ваша вина не серьезна. А для совести?»

«А для твоей, ублюдок?! — закатила истерику Зинаида Пчель. — У тебя ее нет, думаешь, у всех также? Тварь! Ах, какая же ты тварь!»

Это понравилось Сидору Куляшу.

Если Зинаида Пчель надеялась задеть Раскольникова, то она явно просчиталась. Вывести его из себя было невозможно, что он и подтвердил, также отметив ее комментарий как понравившийся. И этим поразил Зинаиду Пчель:

«Господи, да он еще соглашается! Какой, однако, покладистый!»

Раскольников ограничился желчным смайликом.

«Я обратилась в полицию, — поздно ночью сообщала Аделаида. — Меня там высмеяли».

Больше комментариев не поступало. Прошел день.

«Каин уже занес нож над Авелем, — поставил в известность Раскольников. — Крайний срок завтра».

«А где доказательства? — вновь прорезалась Зинаида Пчель. — Может, он простой вымогатель? Соберет с нас денежки и поминай как звали…»

Раскольников выставил фотографию, с которой смотрел улыбавшийся молодой мужчина с ямочкой на подбородке.

«Это Авель».

«Говорил же, он обыкновенный тролль! — оживился Сидор Куляш. — Киллер бы не стал так рисковать».

«А чем? — возразил с унылым смайликом Модест Одинаров. — Разве можно найти по фото?»

«Сочиняет, — согласился с Сидором Куляшом Иннокентий Скородум. — Причем отвратительно».

Но Захар Чичин не сочинял. Каин действительно заказал ему Авеля. Сославшись на общих знакомых, он писал, что речь идет о семейном конфликте, и обещал не торговаться. Захар Чичин был удивлен. Авеля ему было не жаль, но он впервые видел, чтобы с таким безразличием проливали родную кровь. Изменив своему правилу, он решил встретиться с заказчиком, отправившись в одиноко стоявший особняк. Но перед этим наблюдал за Авелем, чтобы иметь представление о мотивах, подтолкнувших к его убийству. И вскоре убедился, что тот не был агнцем. Для этого Чичину не пришлось ходить далеко — Авель устраивал свидания с женой брата в той же гостинице, где он остановился. «Вот сучка! — усмехнулся Чичин, глядя на ухоженную молодившуюся женщину, которую Авель целовал, встречая в вестибюле. — Не могла на стороне мужика найти». Держась за спиной, Чичин проводил их до номера, несколько раз пройдя по коридору мимо спешно захлопнутой двери. Выждав время, он припал к ней ухом, услышав любовный смех, и у него даже мелькнула мысль о ревнивом муже, но он быстро ее оставил.

Каин оказался сутулым обрюзгшим человеком средних лет с лихорадочно бегавшими голодными глазами. На нем был малиновый пиджак, накрахмаленная сорочка, воротником упиравшаяся в шею, и мятый галстук в горошек.

— Отец наследство разделил, — угрюмо признался он, вертя в руках аванс. — Свою часть бизнеса, акции… А с какой стати? Он только баб трахал, когда мы с отцом корячились. А на похороны и копейки не дал.

Он замолчал, уставившись в точку где-то за спиной у Захара Чичина. Потом протянул перевязанную резинкой пачку денег.

«О жене не знает, — принимая ее, усмехнулся про себя Захар Чичин. — Может и к лучшему».

— Это ваши дела, — заметил он вслух. — Рано или поздно у каждого вырастает зуб на брата.

— На брата? — на мгновенье оторопел Каин, но потом взял себя в руки. — Сделаешь?

Захар Чичин кивнул.

— Но надо бы набросить. Брат все-таки…

Каин побагровел.

— Что ты заладил: брат, брат! Не твой же! Ты чего мне на нервы действуешь? Не берешься, так и скажи, на тебе свет клином не сошелся!

Захар Чичин ядовито улыбнулся:

— А у самого что, рука не поднимается? Решил бы все по-родственному. Ты же старший, небось поколачивал его в детстве?

Каин неожиданно успокоился, сел за стол, обхватив голову руками.

— А твое какое дело? Ты чего, мораль пришел читать? Ты же убийца.

И вдруг заорал:

— Вон!

Он чуть не плакал, его плечи дрожали. Обойдя стол, Захар Чичин похлопал его по спине, произнеся самую долгую речь в своей жизни:

— Брось, на свете всякое бывает. Я же понимаю, не каждый день приходится брата убивать, вот и хотел посмотреть. Но не волнуйся, сделаю все в лучшем виде, зря, что ли, ехал. Или ты хочешь оплатить неустойку?

— Нет, — поднял голову Каин.

— А раз нет, давай деньги пересчитывать, бизнесмен.

Он раскладывал купюры по столу, точно пасьянс, который должен сойтись, и пока собирал обратно, Каин избегал смотреть ему в глаза…

Тогда же Захар Чичин затеял свою игру в интернет-группе. Вовлекая в нее, он надеялся расставить все по местам, доказав свою правоту, продемонстрировав, что на свете нет ни правых, ни виноватых, а есть только жертвы случайных обстоятельств. Но для участников группы Авель оставался всего лишь пятном на экране, и к заявлению Захара Чичина они отнеслись, будто к сообщению из Африки, где резали туземцев. После первого шока все успокоились. Сообщений от него больше не поступало, и его игру теперь воспринимали как дурную шутку.

«Не убивайте его, Раскольников», — подыграла Дама с @. — Он такой миленький».

«Смените ремесло, Раскольников, — посоветовал Олег Держикрач. — Вам явно пора на отдых. Руки еще не трясутся?»

Захар Чичин и в самом деле устал. «Последнее», — думал он, принимаясь за дело, и уже подбирал место, где лучше залечь на дно. Но каждый раз его охватывала невыносимая тоска, и он, проведя месяц в бесцельной маете, приступал к следующему «заказу».

Спустившись за колой, Захар Чичин увидел в вестибюле Авеля. «Ждет невестку», — усмехнулся он. Авель утопал в гостиничном кресле, положив руки на симметрично выставленные колени, вытянув прямо спину, как провинившийся школьник, и неподвижно смотрел на входную дверь.

— Славный городишко, — открывая на ходу колу, улыбнулся Захар Чичин.

Авель поднял глаза, близоруко сощурившись.

— И развлечения, верно, есть, — прихлебнул колу Захар Чичин. — Не подскажете, где лучше провести вечер одинокому коммивояжеру?

Задумавшись, Авель, точно капустным листом, обернул узкое лицо ладонью.

— Даже не знаю… — забарабанил он по щеке длинными пальцами. — Есть пара ночных клубов. Может, там?

— А не опасно? Мне приключения не нужны.

— Да что вы! Тихий город, когда под колеса попадает кошка — целое происшествие.

— Ладно, пойду в клуб. Составите компанию?

— Спасибо, как-нибудь в другой раз, сегодня проведу вечер у телевизора.

На мгновенье Захару Чичину Авель стал симпатичен — молодой, с подвижным лицом, большими умными глазами. Он вцепился в его глубоко врезавшуюся, будто третий глаз, ямочку на подбородке, и представил, как будет ей одиноко, когда у Авеля сомкнутся веки. И почему он должен его убивать? За что лишать его жизни?

«Осталось четыре часа», — сухо сообщил он, когда, простившись с Авелем, зашел в интернет-кафе.

В группе воцарилось молчание, однако все были в Сети.

«Три», — написал он через час.

«А вдруг это не шутка?» — подумали все.

«Два».

Комментариев не было. А потом Сидор Куляш нашел выход:

«Кого из себя строит этот урод? Да мало ли творится вокруг грязных дел! С какой стати мы должны в них участвовать? Он же сам заявлял: его дела нас не коснутся. Администратор, немедленно избавьте нас от Раскольникова!»

«Забанить его! — присоединилась Ульяна Гроховец. — Кстати, администратор, вы же предупреждали, что отношения не должны выходить за рамки интернета».

«Согласно нашим правилам, это решает группа, — через минуту ответил администратор. — Голосуйте!»

«И что даст ваша голосовалка? — издевался Раскольников. — Успокоит совесть?»

Но его не слышали, будто мертвого, который напоминает о себе тем, что смердит.

«Исключить», — кинул черный шар Иннокентий Скородум.

«Согласен», — поддержал Модест Одинаров.

«Давно пора!» — подала голос Аделаида.

Захар Чичин еще огрызнулся: «Если бы вы с таким же усердием убивали негодяев, жизнь вокруг непременно бы улучшилась!». Но его это не спасло. Раскольникова исключили единогласно. Подписалась даже Дама с @. «Вы мне глубоко симпатичны, — сгладила она свое решение в “личке”. — Мне будет вас не доставать». — «Мне вас тоже», — послал ей цветок Захар Чичин. «А расскажете, чем все кончилось?» — «Иначе детектив оборвется? А вы уверены, что хотите знать?» — «Да, уверена. Меня, кстати, зовут Даша». — «А меня Захар Чичин». — «И вы не боитесь раскрывать имя?» — «Но вы же умеете хранить секреты? К тому же название города, в котором живут Авель и Каин, пусть останется тайной».

Полдня Даша провела, как на иголках, то и дело подходя к компьютеру. Воображение рисовало ей благородного киллера, который делает свою работу против воли и который на этот раз каким-то чудом все уладит. От нетерпения Даша опустошила коробку шоколадных конфет, иногда ей начинало казаться, что она не дождется ответа. И действительно, с какой стати? Кто она Захару Чичину? Почему он должен рассказывать ей о своих делах? Она уже окончательно укрепилась в этих мыслях, когда к вечеру получила отчет.

«Я караулил Авеля в парадной, чтобы застрелить, но, когда он появился, неожиданно для себя обхватил его шею, приставив пистолет к виску: “Пригласи меня в гости”. Он обмяк, так что пришлось чуть его не тащить. Я достал у него ключ, открыл дверь. В квартире толкнул его на диван.

— Какой опасный у вас город, невозможно провести вечер у телевизора, правда?

На его узком лице повис страх.

— Бери все, что захочешь! — завизжал он. — Все, что захочешь!

— И твою жизнь?

Он осекся, глаза застыли на перекошенном лице, которое стало еще уже.

— Не убивай, ради бога, не убивай… Ты же хороший, добрый… Ну пожалуйста, не убивай…

— Дурак, если бы я хотел убить, ты был бы уже покойником. — Я достал диктофон: “Отец наследство разделил, часть бизнеса, акции… А с какой стати? Он только баб трахал, когда мы корячились”. — Узнаешь?

Он побелел, вцепившись в подушку.

— Видишь, у брата к тебе претензии, счета предъявляет.

— Врет, свинья! Сам отца в гроб вогнал! И жену свою мучает!

— И тебя заказал.

Он затрясся. Казалось, он упадет в обморок, и я не стал затягивать паузу.

— Расплачиваться собираешься?

Его лицо исказила гримаса. Он стал нервно тереть ямочку на подбородке. Я дал ему шанс, но его парализовал страх.

— Так собираешься платить? — повторил я.

Наконец, до него дошло.

— Сколько, сколько тебе надо? У меня есть, бери все…

Вскочив, он открыл ящик, стал швырять на диван перевязанные пачки. Я взял одну, взвесил на ладони:

— Ого, да за такие деньги можно и брата заказать.

Стало слышно его учащенное дыхание.

— А можно?

У него отвисла губа, он стал похож на ребенка.

— Конечно, почему нет. Хочешь, он уже к утру встретится с вашим отцом? Мои условия — половина сразу, остальное потом.

Он стал совать мне деньги:

— Бери сразу все… — И вдруг согнувшись, по-собачьи заглянул мне снизу в глаза: — А сделаешь, правда? По рукам?

Мне захотелось его ударить. Рассовав деньги по карманам, я толкнул его в плечо. Толчок был не сильным, но он упал и заскулил, как собачонка, так что мне пришлось через него перешагивать.

— А вы с братом друг друга стоите, — обернулся я в дверях.

И, сплюнув, вышел».

Получив это признание, Даша, не удержавшись, опубликовала его в группе, умолчав лишь имя Захара Чичина.

«А он оказался лучше», — добавила она от себя.

«Чем мы думали? — уточнил Иннокентий Скородум. — Или чем мы?»

Но его вопросы остались без ответа.

Захар Чичин ехал в поезде, отдернув занавеску, смотрел на плывшие в надвигавшихся сумерках поля, и вспоминал легенду, которую сочинил для Дамы с @. В жизни было все прозаичнее. Он дождался Авеля в подъезде, выкурив полпачки, так что на лестничной площадке пришлось открывать форточку, чтобы дым не проник в квартиры. Было прохладно, меж сырых стен гуляли сквозняки, и Захар Чичин поднял воротник. Авель задерживался, но Захар Чичин умел ждать. Как клещ, притаившийся на дереве, он отключался, так что время для него исчезало, и ждал — без мыслей, без чувств, без страхов. Он замер, облокотившись о подоконник, глядел на распростершийся внизу город, на море огней, в котором не было ни одного его, и сигарета почти лежала у него на подбородке. О предстоящем он даже не думал, все было отлажено до мелочей, все было давно выверено, как в часовом механизме. Существовало два варианта: Авель мог вызвать лифт или подняться пешком. Когда хлопнула парадная дверь, Захар Чичин обратился в слух: шагов не последовало, значит, Авель выбрал первый вариант. Это упрощало задачу. Он бесшумно поднялся на лестничный пролет, притаившись за железным каркасом лифта, и, когда Авель, насвистывая, вышел из кабины, дважды выстрелил ему в затылок. Пистолет был с глушителем, и, подхватив тело, Захар Чичин мягко уложил его на пол, так что соседи ничего не услышали. Все это заняло мгновенья, двери не успели закрыться, и Захар Чичин спустился на том же лифте. Не вынимая сигареты изо рта, он отвинтил глушитель, спрятал пистолет в карман и тихо прикрыл за собой парадную. Поступить иначе значило погубить репутацию. А ради чего выходить из игры? Ради морали? Так в правилах она не прописана. Ничего личного, главное — выжить! Он потратил лучшие годы, чтобы это усвоить. А эти наивные простачки, не знающие жизни, пусть остаются при своих иллюзиях. Он достаточно подергал за приклеенную бороду их морали, они получили свое…

Захар Чичин смотрел в темноту и торжествующе улыбался.

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

Сидор Куляш был женат на невидимке. «Когда она утром уходит на работу, я еще не продрал глаза, когда возвращается, уже сплю, — жаловался он в интернет-группе. — Мы годами не видимся!» — «Ты что, соня?» — поинтересовалась Ульяна Гроховец. «Если бы! Тогда мы встречались хотя бы во снах». — «А откуда ты знаешь, что женат? Раз с женой не видитесь? Может, тебе это пригрезилось?» Но Сидору Куляшу это не грозило. Он до мозга костей был прагматиком, и его воображения не хватило бы даже на то, чтобы представить собственную смерть. Сидор Куляш работал на телевидении. «Специалист раздувать из мухи слона, — представлялся он. — Тот, кому верят больше, чем собственным глазам». О чем бы ни заходил разговор, Сидор Куляш переводил его на свою работу: «Аудиовизуальный ряд не оставляет сомнений, не дает ни единого шанса для критики. После телевизора кажется, что возникает собственное мнение. Ну еще бы, вы же видели все своими глазами! А его формирую я! Монтаж, монтаж и еще раз монтаж! Если лицо в кадре сменит тарелка супа, покажется, что человек голоден, если женщина, лицо покажется влюбленным, если детский гробик — печальным. А лицо одно и то же, и оно абсолютно бесстрастное! — Сидор Куляш говорил взахлеб, брызгая слюной так далеко, что ее капли долетали и тогда, когда речь уже была не слышна. Слова в нем буквально клокотали, грозя разорвать, если он не выпустит их наружу, и попавшему под их лаву оставалось лишь признать его правоту. — Помнится, делал я предвыборный ролик для кандидата правящей партии. Отсняли материал, скомпоновали — не политик, а конфетка! Честный, неподкупный, открытый! А тут оппозиция за его компрометацию больше предложила. Сроки поджимают, что делать? Пришлось исходник перекраивать, где-то музыку соответствующую наложить, где-то голос закадровый, а главное заново монтировать. Но — получилось! Чистый вурдалак вышел! После просмотра за него даже члены его партии не голосовали».

Школу Сидор Куляш окончил с грехом пополам, а из университета вынес золотое правило: «Не жалей усилий, на то, чтобы не работать!».

— Твой главный враг — лень, — сказал председатель комиссии, вручавшей ему диплом. — Тебе надо много работать, чтобы сделать карьеру.

— Спасибо, учту, — буркнул Сидор Куляш. А когда уже держал диплом в руках, не выдержал. — Работать и делать карьеру — вещи разные, — по своему обыкновению стал брызгать он слюной, — они противоречат друг другу, потому что на все не хватит времени.

Однокашникам Сидор Куляш казался недалеким, но пристроился он лучше, и денег у него водилось больше. При этом Сидор Куляш был везде своим парнем, охотно ссужая, не требовал возврата долгов.

— Давая копейку, получаешь рубль, — объяснял он, не скрывая своей расчетливости. — Душа нараспашку — выгодный имидж.

— А богатый папа — имидж еще выгоднее, — смеялись ему в лицо.

Куляш-старший держал тогда банк, и Сидор Куляш вырос при деньгах, как пастушок при коровах. Его родители не разводились, но отец открыто жил с другой женщиной, а мать встречалась с другим мужчиной — и оба, перетягивая его на свою сторону, баловали единственного сына. «Правда, он славный, — представляла его мать новому возлюбленному. — Ну как ни взять такого мальчика с нами на юг. Поедешь к морю?» Сидор Куляш кивал, а на море проводил все лето в одиночестве, гоняя стада мелких рыбок, вытаскивая на берег жгущих медуз и мечтая о том, как вернется, наконец, домой. «Ну, как съездил? — встречал его отец. — Понравилось?» И Сидор Куляш снова кивал. «Тогда зимой на каникулы поедем в горы, — гладил его отец и обращался к своей даме: — Научишь его кататься на лыжах? » И зимой Сидор Куляш, разбивая нос, осваивал лыжную технику, нелепо кувыркался в снегу, пока отец с дамой наблюдали за ним сверху, ездил по канатной дороге, зажмурившись от страха, едва сдерживаясь, чтобы не закричать, а вечерами мечтал, как вернется домой. Так продолжалось из года в год. А потом мать умерла, а отцовский банк лопнул. Но к этому времени Сидора Куляша уже устроили на телевидение, где он оказался к месту, применяя на практике свою теорию о работе и карьере.

В интернет-группу Сидор Куляш вступил, получив рассылку, и сразу стал ее активистом. «Главное не написать роман, а его продать, — поучал он Иннокентия Скородума. — В издательствах делят проценты, выкупают авторские права, но рукописи не читают. А зачем? С рекламой все купят! Книга такой же товар, как и зубная паста, и на рынке требует такого же продвижения!» Авдей Каллистратов морщился. «А какая разница, о чем и как писать, все равно не читают. О вкусах не спорят, их навязывают — оттого и противно», — хотелось написать ему, но он чувствовал, что Сидор Куляш его не поймет.

В свои сорок пять Сидор Куляш выглядел старше. У него были толстые, заметные со спины щеки, которые он, когда сильно нервничал, втягивал и жевал изнутри. Живот у него выпирал, а зад, чтобы поддержать устойчивость, все больше выпячивался, так что фигурой он походил на знак доллара, и, когда летом раздевался, то в жировые складки на боках заползали мошки.

«Обществу больше не нужны воины, мужское братство осталось в прошлом, — писал он, втайне оправдывая себя. — Возвращается матриархат? А что в этом дурного? Благодаря прогрессу мужчина и женщина сливаются в единое целое. Исполняя одни функции, они и ведут себя одинаково. А женщины по природе сильнее. Сегодня умный достойный мужчина — не грубая скотина с квадратной челюстью, а гибкий, уступчивый, с мягкими руками».

«Педик, что ли? — обрезала Дама с @. — Идите вы к черту, Сидор Куляш, мне мужика подавай!»

Сидор Куляш промолчал, демонстрируя мужскую уступчивость.

«Увы, мир сегодня — бабье царство, — констатировал Олег Держикрач. — Офисный работник беспол. Но больше женщина, чем мужчина».

Это понравилось Сидору Куляшу. Однако не настолько, чтобы комментировать.

Однажды утром, выйдя во двор, Сидор Куляш почувствовал запах масляной краски и, осмотревшись, заметил ярко-красную линию с равномерно нанесенными через каждые десять шагов стрелками, делавшими ее похожей на елку, которую рисуют дети. Она брала начало от ступенек его подъезда, вела вниз по тротуару и резко сворачивала за угол. Сидор Куляш уже достал ключи от машины, но, вместо того чтобы сесть за руль, отправился вдоль линии, стараясь не наступать на нее, чтобы не испачкать ботинки. Сложив ладонь козырьком, он прикрылся от бившего в глаза солнца и, не отводя взгляда от линии, шел квартал за кварталом. Был рабочий день, но улицы оставались пустынны. Только раз дорогу ему перебежала черная кошка, и он, не останавливаясь, трижды сплюнул через плечо. Линия вела его вперед по неровному, плавившемуся от жары асфальту, виляя то вправо, то влево, пересекала проезжую часть, протискиваясь под брюхом припаркованных машин, залезала на каменный бордюр, на стены домов, описывая кривую возле окон, парадных и спускаясь вновь, наткнувшись на подворотню, она змеилась по ровно стриженому газону, пробежав мимо облепивших кусты воробьев, опоясала по дороге несколько фонарных столбов и поднялась по ступенькам здания, где он работал. Сидор Куляш уже привычно толкнул тяжелую входную дверь, когда заметил, что линия, обогнув ее, скрылась за поворотом. Отпустив дверную ручку, он последовал за ней, заметив, что движется в обратном направлении — мимо кустов, с которых упорхнули воробьи, глухих подворотен, с налезающими по бокам окнами и мимо согнувшихся буквой «г» фонарных столбов. Стрелки были все толще, краска все свежее, пока на ступеньках своего дома, по которым поднималась линия, Сидор Куляш не увидел златокудрого мальчика, абсолютно голого, — он сидел на корточках, макая в ведро толстую кисть, и, склонив набок голову, подкрашивал линию.

— Что ты делаешь? — спросил Сидор Куляш.

Мальчишка поднял глаза и злорадно рассмеялся.

— Разве не видишь, очерчиваю твою судьбу.

— А кто дал тебе право? — взял его за ухо Сидор Куляш.

Мальчишка пнул ногой ведро, из которого потекла краска, и, не обращая внимания на ухо, оставшееся в руке Сидора Куляша, кособоко отпрыгнул в сторону, как это делает ворона, прежде чем взлететь. И только тут Сидор Куляш заметил у него крылья. Взмахнув ими, мальчик быстро взмыл в небо, исчезнув за горизонтом. Мгновенье Сидор Куляш с ужасом смотрел на прозрачное, блестевшее, как перламутровая раковина, ухо, потом бросился бежать, сделав шаг, споткнулся о ведро и от грохота, с которым оно покатилось, проснулся.

Солнце стояло в зените. Зажмурившись, Сидор Куляш ощупал мокрое от пота лицо, перевел взгляд на будильник, который проспал, и решил не выходить на работу. «Неважно себя чувствую», — хрипло пробормотал он по телефону, в одних трусах выйдя на балкон. Перед ним расстилался город, в котором было не сосчитать тех, кому работа засела в печенках, и Сидор Куляш подумал, что не худо было бы сделать передачу про их сны. Лето было в разгаре. Под окнами носились стаи ошалелых стрижей, на улицах пили бочковой квас, и лавочки в парках оккупировали влюбленные. В это время под крышей своей многоэтажки умирал в одиночестве Модест Одинаров, этажами ниже ухаживала за сварливой старухой-матерью Полина Траговец, Авдей Каллистратов проводил на даче счастливые дни, встречаясь с литературным критиком и решая сделать предложение Даше, а в провинциальной гостинице, получив очередной заказ, изучал привычки Авеля Захар Чичин.

Женился Сидор Куляш не потому что захотел, а потому что захотели его, и не успел прийти в себя после первого свидания, как уже стоял в церкви, бормоча о верности до гробовой доски. «В два счета расправилась, — поражался он ловкости жены. — А может, оно и к лучшему?» До свадьбы жена Сидора Куляша была стройной, она следила за фигурой, перепробовав множество диет, а выйдя замуж, быстро расплылась. Вознаграждая себя за вынужденное голодание, она расхаживала по квартире с тарелкой пирожных и, поглощая их, жмурилась от удовольствия. Она часто жаловалась на мигрень, лечилась от тысячи болезней, тщательно следуя врачебным рекомендациям, однако отказать себе в остром, жареном и соленом значило для нее умереть. В те редкие вечера, когда жена была дома, она висела на телефоне с подругами.

— Сидор у меня домашний и мягкий, — говорила она, будто речь шла о тапочках. — И весь в работе.

— Везучая! О таком муже можно только мечтать.

— Выходишь по любви, а в итоге оправдывается расчет. Почему? Да потому что, любовь — тоже женская интуиция, пусть та, у которой ее нет, полюбит и козла.

Жена валялась на диване и, включив громкую связь, бросала слова в пустоту, будто греческая пифия. А в соседней комнате Сидор Куляш слушал ее с натянутой улыбкой и думал, что в браке может повезти только одной из сторон. Потом, не выдерживая, подходил к распахнутой настежь двери, ведущей в комнату жены и, громко кашлянув, плотно ее закрывал.

— Конечно, я счастлива, а значит, счастлив и он, — назло повышала голос жена. И Сидору Куляшу приходилось затыкать уши. А простившись с подругами, жена шла к нему, обнимала за плечи и тихо ворковала:

— Ну что ты, котик, не принимай так близко, надо же было их подразнить.

— А почему всегда за мой счет?

— А за чей же еще, дорогой? Ты же умный, сильный. Простишь бабские штучки?

Сидор Куляш оттаивал.

— Трудно быть мужем.

— Особенно такой стервы.

Жена целовала его в шею, одновременно расстегивая свой халат, и постель топила все. Но такие сцены с годами происходили все реже, зато подруги звонили все чаще.

На работе Сидор Куляш считался остряком. Он был не лишен актерских данных, легко вживался в образ, переиначивая чужие рассказы, как ребенок, верил, что это произошло с ним.

«Кормил я вчера голубей на бульваре, — выдавал он за свою историю Модеста Одинарова. — И вдруг появляется здоровенный детина с питбулем. Пес без намордника, лезет на лавочку. А кругом, как назло, ни души. Что делать? “Ничего, дядя, собачка не помешает?” — ухмыляется собачник. Гляжу, лицо садиста, из тех кто, унижая, получает удовольствие. Я молчу. “Ты чё, немой? Или в штаны наложил?” Я молчу. Он тронул меня за плечо. Я показал на рот, потом на уши, осторожно жестикулируя, чтобы не спровоцировать пса. “Вот урод”, — отошел он, свистом подзывая собаку. И тогда я вызвал полицию. Патрульная машина оказалась рядом, и мы быстро его догнали.

— В чем дело? — возмутился он. — Не дают погулять с собакой!

— Вы натравливали ее на прохожего.

— Какого еще прохожего? Кто вам сказал?

— Вот потерпевший. Он говорит, вы угрожали ему расправой.

И тут он допустил ошибку. Вместо того чтобы отрицать знакомство, расхохотался:

— Говорит? Да он же глухонемой.

— А ты сумасшедший, — выстрелил я и обернулся к полицейским: — Видите, у него не все дома.

Полицейские переглянулись.

Уж, не знаю, как он объяснил им все в участке. Какова месть, а?»

История была шита белыми нитками, но, искупая ее искусственность, Сидор Куляш заразительно смеялся.

Он также слыл донжуаном. Собрав кружок распустивших уши мужчин, часами распространялся о своих любовных похождениях, о том, как мучается каждый раз, изменяя жене, не в силах устоять против домогательств красоток. «Грех, конечно, пользоваться случаем, когда на шею вешаются, — подмигивал он, разглаживая сальные волосы. — Но ведь грех и не воспользоваться». Сидор Куляш был убедителен, не краснея приводил интимнейшие подробности, так что после его рассказов всем казалось, будто они никогда не были с женщиной.

От своей работы Сидор Куляш был без ума. «Что такое телевидение? — оставлял он в группе многословные эмоциональные посты, так что казалось, его слюна брызжет и с монитора. — Известно, что мирно стрекочущие кузнечики, набрав критическую зеленую массу, превращаются в саранчу, вставая на крыло. А если их окружить зеркалами, многократно умножающими их количество, их превращение в саранчу произойдет сразу, будто они видят себя со стороны, будто ими всеми управляет какой-то внешний мозг. Так же устроен и муравейник. У нас этот внешний мозг — телевидение!»

Это не понравилось никому.

«Не хочу быть кузнечиком, — написала Дама с @. — А тем более саранчой!»

«В отличие от муравьев люди думают», — поддержала ее Ульяна Гроховец.

«Думают? — набросился на нее Сидор Куляш. — А может, им только кажется?»

Это опять никому не понравилось.

На работе Сидор Куляш мог поддержать любой разговор, но особенно любил рассуждать о марках автомобилей, которые вызубрил, как алфавит. Машину он водил, как гонщик, не разбирая дороги, нарушая правила, а когда ему выписывали штраф, доставал туго набитый бумажник:

— За удовольствие надо платить.

— А не жалко? Так можно себе права обезобразить.

— Ну что вы, штрафы украшают мужчину.

Принимая окружающее, Сидор Куляш подчинялся его законам, но, в отличие от Захара Чичина, не сомневался в его целесообразности. «Все действительное разумно, — любил повторять он. — Просто неудачники этого не замечают». В последнее время его мучила бессонница, он долго ворочался, перекручивая простыни, и, пытаясь уснуть, считал падавших в пропасть овец. Отделяясь от бесконечного стада, они по очереди подходили к обрыву и, задержавшись ровно на столько, чтобы повернуться блеющей мордой, летели кувырком вниз. И Куляш в эти мгновенья вспоминал отца. «Эх, Сидор, — защемив двумя пальцами, трепал тот его толстую щеку. — В жизни надо карабкаться вверх, не скатиться и не стать только тенью на грязном полу». Проваливаясь в сон вместе с падением последней овцы, которой было уже не суждено выбраться со дна, Сидор Куляш, как и в детстве, соглашался: «Да, папа, все проще простого». Сидор Куляш верил в свои таланты, в то, что видит мир насквозь, и на работе привык быть оракулом, способным решить любую проблему. «На словах, — думал о таких Авдей Каллистратов, включая телевизор, где на экране мелькали разного рода эксперты, колумнисты ведущих газет и уверенные в своих прогнозах аналитики. — Они все решают на словах».

Журналистская работа приучила Сидора Куляша к бесцеремонности.

«Еще не все потеряно, — писал он заболевшему Модесту Одинарову. — Бывают врачебные ошибки, обратитесь к нетрадиционной медицине, съездите в Тибет». И с упоением рассказывал истории про чудесно излеченных, которые вычитывал в иллюстрированных журналах.

«Я бы таких бесплатно убивал, — возмутился Раскольников. — Ты будто и на свете не жил».

«В другом мире, — парировал Сидор Куляш. — Я живу в другом мире».

И сам в это верил.

«Где деликатные, утонченные? — читая его посты, думал Авдей Каллистратов. — Где чеховские герои?» И опять у него всплывали художники на даче, отказавшие ему в интеллигентности. «Много понимают, — хмыкал он. — Знали бы с кем сравнивать». А ведь однажды Авдей Каллистратов участвовал в его передаче.

— Сегодня у нас в гостях статусный писатель, — представил его Сидор Куляш.

Его передернуло, но он не подал вида, продолжая широко улыбаться:

— Очень приятно.

Теперь Каллистратова заливала краска стыда при одном воспоминании об идиотских вопросах, на которые он давал не менее идиотские ответы: «При написании романов вдохновляют ли вас какие-то случаи из жизни или вы целиком полагаетесь на свою фантазию?» — «О да, конечно, если позволите так выразиться, моим пером водит сама жизнь». — «Разделяете ли вы распространенное в последнее время мнение о смерти искусства?» — «Ни в коем случае! Искусство вечно, оно умрет вместе с человечеством» и т. д. и т. п. «Какая чушь!» — подумал он сразу после эфира.

— По-моему все прошло замечательно, — полувопросительно, полуутвердительно сказал Сидор Куляш.

— Как по нотам, — кивнув, подтвердил он.

— С известными людьми у меня всегда так.

Когда речь заходила о знаменитостях, Сидор Куляш позволял себе заочное панибратство, называя их уменьшительными именами, будто вчера с ними расстался, а на самом деле был им едва представлен или водил шапочное знакомство. Он знал, что в глазах собеседника это повышает его собственную значимость, и отжимал трюк до конца, направо-налево козыряя своими вымышленными связями.

Теперь Авдей Каллистратов оставался инкогнито и мог высказать Сидору Куляшу все, что думает. Через месяц возобновленного под чужим именем знакомства он его уже ненавидел, но, странным образом, каждый раз пытаясь его ужалить, невольно ему подыгрывал. Как тогда, после эфира.

«Зачем я пишу? — спрашивал в группе Иннокентий Скородум. — Выразить, что я чувствую, невозможно. У искусства свои законы, и дело не в моем таланте. Тогда зачем?»

«У каждого свой долг перед обществом, — отвечал Сидор Куляш. — А люди культуры обязаны нести правду».

«Какую еще правду! — садился на своего конька Иннокентий Скородум. — У каждого она своя! Чем больше о чем-то шумят, тем это делается правдивее! А культура? Это всего лишь архив. Как в него попадают? Кто? Если жизнь — дурная канцелярия, то почему мы доверяем ее архиву? Почему относимся к нему с таким трепетом? Или застывшее время имеет для нас неотразимое обаяние? Музей как напоминание о вечности? Ее рукотворный, искусственный переулок?»

«История — это застывшая политика, — соглашался Сидор Куляш. — А культура лишь часть истории. Но это и есть правда! Общая для всех, правда без местоимения, и другой правды на свете нет!»

Складывалось впечатление, что они были единомышленниками. Но отношения двоих для третьего всегда загадка, впрочем, как и для каждого из них.

«Один человек на свете, никто его не поймет», — убеждался Авдей Каллистратов, глядя на Сидора Куляш и узнавая в нем себя прежнего, когда писал про умерших знаменитостей, о которых ровным счетом ничего не знал, про дерзких шпионов, которые существовали лишь в его воображении, как и выползшие из-под пера инопланетяне. «А чем было удивить? — оправдывался он. — Как заставить читать свои книги? Что я знаю такого, чего не знают другие?» Наблюдая за Сидором Куляшом, он думал, что тот прав — успех требует идти в ногу со временем, вынуждая не выходить из круга телевизионных ассоциаций. «Необходимо принимать все как есть, придерживаясь того же, что и все, — заключал он. — То есть надо быть Сидором Куляшом».

«Взять литературу, — написал он в группу, — в ней славят уже состоявшихся, уже известных, как и газеты, пишут лишь о президентах. А кто такие эти президенты? Откуда взялись? Чем отличаются от простых смертных?»

«Тем, что они президенты», — не заставил ждать с ответом Сидор Куляш.

«Мир несправедлив, — вклинился Олег Держикрач. — Но что это такое? Он не отвечает нашим запросам? Нашим представлениям о добре? И почему он должен быть иным?»

Это понравилось Модэсту Одинарову и Ульяне Гроховец, отметившимися целой гирляндой смайликов.

Вещая с интернетовской кафедры, Сидор Куляш часто рассуждал о силе слов, сравнивал ее с мощью невербального внушения, которому отдавал предпочтение:

«Не странно ли, что из одних и тех же слов можно составить два противоречащих друг другу утверждения? Не странно ли, что наряду с аргументами язык допускает и контраргументы? Не значит ли это, что существует лишь точка зрения? Наш взгляд, который заменяет нам правду?»

«Это значит всего лишь, что у слов своя ограниченная вселенная, — снова подпел ему Иннокентий Скородум. — Выход за нее сопряжен с риском выглядеть безумцем».

«И когда-нибудь нужно понять, что слова даны не для того, чтобы выражать мысли, а для того, чтобы их скрывать», — подумал при этом Авдей Каллистратов.

«Меня от вас тошнит! — оценила их дуэт Дама с @. — Только ленту засоряют!»

«Бездельники, — поддержала Зинаида Пчель. — Работать не хотят, вот и умничают».

Сидор Куляш был на короткой ноге с руководством, ценившим его журналистскую хватку. Он считался генератором идей, способным из всего извлекать выгоду, и благодаря этому числился на канале незаменимым.

— Жизнь сама подскажет, что взять, — забросив ногу на ногу, учил он. — Надо лишь пристально в нее вглядываться.

— По этой части у тебя талант, — соглашались с ним. — У тебя собачий нюх на нашу собачью жизнь.

Начальство явно выделяло Куляша из коллектива, и когда ему пришла мысль сделать репортаж о Раскольникове, его выслушали за закрытой дверью.

— Из этого выйдет неплохой сюжет, — рассказал он историю киллера. — Тут и мораль, и триллер — народу понравится.

— В самом деле? Ну что же, займитесь этим.

И Сидор Куляш занялся. Он предложил Раскольникову переписку. «Заочное интервью», — пояснил он. Из группы Раскольникова уже исключили, так что сообщение для него Сидор Куляш оставил на всякий случай, авось зайдет. Кроме того, он поинтересовался, кто еще, как Дама с @, вел с киллером личную переписку. Таковых не оказалось. Однако Сидор Куляш не отчаивался, собирая информацию, где только можно. Он разослал всем членам группы вопросы, среди которых были и такие:

1) Считаете ли вы, что подобные Раскольникову составляют необходимую часть рода человеческого? Заложена ли тяга убивать в их генетике, как первородный грех? Или она развивается под влиянием общества?

2) Исключение из виртуальной группы — символический жест, сродни гражданской казни. Не раскаиваетесь ли вы в содеянном? Будь вы присяжным в суде, смогли бы вы вынести Раскольникову смертный приговор?

Сидор Куляш называл подобные опросы «зондажом общественного мнения».

Олег Держикрач ответил развернуто, подтверждая каждый пункт ссылками на учебники по психопатологии и экскурсами в историю. Ульяна Гроховец и Иннокентий Скородум ограничились односложными «да» и «нет», а Зинаида Пчель отделалась категоричным: «Идите к черту!».

«По-моему вы сильно рискуете, — написала Дама с @. — Сначала вы предложили его исключить, теперь хотите на нем нажиться. Похоже, Раскольников — человек ранимый, вдруг обидится? Смотрите, никакой администратор не запретит ему вас разыскать».

«Кому помешают десять минут славы?» — отшутился Сидор Куляш.

«Какая слава у убийцы! — возмутилась Аделаида. — Кто захочет его знать! И зачем ему известность?»

«Ой, только не надо этого, я вас умоляю! Каждый мечтает попасть на телевидение».

«Не любите вы людей, Сидор Куляш. Презираете…»

«Почему? Люблю. Просто мама в детстве учила меня говорить правду».

«И быть храбрым», — гнула свое Дама с @.

«На том стоим!»

Но в глубине души Сидор Куляш испугался: «Сумасшедший же…». Он хотел даже отказаться от своей затеи, но, представив недоумение начальства, понял, что отступать некуда. «Прямо хоть пистолет покупай, — покрылся он потом. — И в подъезд заходи, да оглядывайся».

Раньше Сидор Куляш не задумывался о смерти. «О жизни надо думать, — отмахивался он. — А смерть сама о себе подумает». Но теперь эти слова показались ему пустыми и ничтожными, не способными ни утешить, ни защитить. «Надо бы в церковь, — промелькнуло у него. — Там же по этой части». Но потом вспомнил, что в церкви никогда не был, что всегда смеялся над ее рецептом спасения, и ему стало невыносимо грустно.

— Давай заведем детей, — обнял он жену, когда они наконец встретились в постели. — Мальчика и девочку.

— При условии, что рожать будешь ты, — отстранилась она. — Ну, дорогой, какие дети? Мы же договаривались сначала наладить жизнь.

— Да, договаривались…

Сидор Куляш вспомнил их разговор, состоявшийся вскоре после свадьбы, и подумал, что с тех пор прошли годы, проведенные ею среди банковского персонала, что, пробившись в его среднее звено, она метит теперь в топ-менеджеры.

«А директором все равно не станешь, — пробубнил он, слушая сонное посапывание. — Станешь старухой». Он вдруг вспомнил отца, променявшего его на бумажки — акции, векселя, облигации, которым отдавал все время, вместо того чтобы проводить его с сыном, и подумал, что теперь банк отнимает у него любовь, точно положив ее на депозит. Сидор Куляш, не мигая, смотрел на спящую жену, и ему были ненавистны ее сплетни про сослуживцев, корпоративные посиделки и бесконечное обновление гардероба, которые входят в офисную жизнь. Раньше он ждал ее допоздна, не сомкнув глаз, но она возвращалась уставшая, чужая, быстро раздевалась и, едва клюнув в лоб, отворачивалась к стене. А он еще полночи глядел в темневший потолок и, глотая обиду, думал, что у нее своя жизнь, и единственный выход для него — наладить свою.

«Почему каждый следующий муж хуже предыдущего, а каждая следующая жена — лучше? — поднявшись с постели, вынес он раз под утро тему для обсуждения. — Как после этого говорить о равенстве полов?»

Он подождал с час, но комментариев не последовало. И вдруг его охватил страх. «Раскольников! — вспомнил он. — Чертов репортаж! Может, и правда, зря связался? Но за что меня убивать? Это же работа. Такая же, как у него».

Когда-то Сидор Куляш спал как убитый, а просыпался с трудом, будто возвращался с того света. Эта привычка дорого ему обходилась, а в юности едва не стоила диплома. Утреннюю лекцию в университете он обычно просыпал, но на последнем курсе ее часы выпали строгому профессору с острой, клинышком, бородкой. Он был грозой студентов, на экзаменах его боялись как огня. Сидор дважды делал попытку получить в зачетку его подпись, и оба раза неудачно. «Невежество, — возвращал ее профессор, вздернутой бородкой указывая на дверь. — И как вы только к нам поступили». Предмет был профилирующим, и перед Сидором замаячило отчисление. Он долго подбирал слова, прежде чем пожаловаться отцу.

— Почему сразу не обратился? — нахмурился тот.

— Надеялся, справлюсь…

А потом был звонок ректору, неловкая поза профессора, пришедшего принимать экзамен на дому — дело представили так, будто Сидор заболел, — непрерывное щебетание матери в прихожей: «Ну что вы, профессор, какие тапочки, это большая честь для нас…», шарканье придвинутого к кровати стула: «Когда на лекциях вы сидите, я стою, когда вы лежите, я позволю себе сесть», и виноватая улыбка, сползавшая на безжизненно повисшую бородку: «Что же вы сразу не сказали, что больны, ну поправляйтесь, поправляйтесь…», а в промежутке вопросы, напомнившие классику: «Не Париж ли столица Франции?» — и быстро вынесенный вердикт: «Отлично, надеюсь, моя экзекуция не слишком вас утомила». А потом, уже под одеялом, куда не проникал свет, была животная радость, смешанная со стыдом, и гулкие удары сердца, заглушавшие голоса в прихожей: «Может быть, чаю?» — «Нет-нет, спасибо, дела», — и уже после, когда хлопнула дверь, стук пальца по одеялу: «Вылезай, дорогой, все кончилось… Ты доволен?».

Этот домашний экзамен стоил Сидору всех пропущенных лекций.

Но крепкий сон остался в прошлом. Теперь Сидор Куляш сидел перед монитором и размышлял о том, каким боком выйдет ему репортаж о Раскольникове. Воображение рисовало ему страшные картины, когда человек с аватарой окровавленного топора потребует у него ответа, у Сидора дергалось веко, но вскоре он взял себя в руки. «Нервы разошлись, — снова юркнул он в постель, накрывшись с головой одеялом. — А все чертова группа, надо с ней закругляться».

ГОРЕ ОТ УМА

Однако сообщения от Сидора Куляша продолжали появляться.

«Что такое история? Хотите сделать национальной историей историю брюнетов? Нет ничего проще! Рассказывайте только о брюнетах, их вкусах, привычках. И через поколение все, кому нация обязана величием, станут брюнетами».

«Какой ты ироничный! — вставила Дама с @. — Обожаю стеб!»

«Прошлое непредсказуемо, как было на самом деле, можно лишь гадать, — пропустил мимо Сидор Куляш. — Когда жизнь меняется на глазах, изменения в истории особенно заметны. О настоящем вообще можно судить по отношению к прошлому. Если превозносят цезаря, значит, правит сильная рука, если мартовские иды, значит, процветает либерализм».

«Да здравствует глупость! — вклинился Модест Одинаров. — Все горе — от ума!» Но его комментарий через несколько мгновений исчез. Потом наступило затишье, в котором проступало лишь победное молчание Сидора Куляша.

«Господи, как же вы всех достали!» — опять появился Модест Одинаров.

Это понравилось Ульяне Гроховец. Она не могла вообразить, что человек бывает настолько глуп. Она подумала, что Сидор Куляш всех разыгрывает. Но ее ждало разочарование.

«А чем? — удивился он. — Тем, что иду в ногу со временем? Что считаю свое время лучшим из времен? Да, я верю в прогресс, и рад, что вношу в него свою лепту».

«Уж больно ты суетный, репортеришка, — вынес вердикт откуда-то взявшийся Раскольников. — Но дальше могилы все равно не уедешь».

На его аватаре угрожающе качнулся топор.

«Прогресс? — зазвучали усталые интонации Иннокентия Скородума. — Движение человечества напоминает шараханье броуновской частицы, которую лупят со всех сторон. Она движется по случайному маршруту, медленно удаляясь от начала. Сколько гениев не нашло применения своим талантам! Сколько бездарностей занимают чужое место! Все устроено так глупо, так нелепо… Нет, господа, КПД человечества очень низкий, странно, что оно вообще развивается».

«И этот туда же! — написала было Ульяна Гроховец. — Каждый гнет свое, даже здесь, в группе». Но потом решила не переводить стрелки на Иннокентия Скородума.

«Нет бога, кроме телевидения, и Сидор Куляш — пророк его! — огрызнулась она, выйдя из Сети, чтобы не видеть ответа.

«Умный — дурак!» — донесся ей вслед гомерический хохот Сидора Куляша.

«Умный — дурак!» — стучало у Полины Траговец, когда она открыла глаза. «Но это несправедливо…» — еще не отойдя ото сна, пробормотала она, и огляделась по сторонам, не узнавая свою комнату. Она вспомнила, что до ночи засиделась в интернете, и теперь корила себя. «Вон уж и сниться стали, — перебирала она участников группы. — А что я про них знаю? В Интернете, как и во сне, сплошные выдумки». Она вспомнила, как ошибалась в Модесте Одинарове, представляя его сильным, до тех пор, пока не прочитала его интернетовские признания. Но и виртуальный портрет искажает реальный. Кто, например, этот Сидор Куляш? Надутый щеголеватый франтик? Длинный как жердь, с отсутствующим взглядом? Может, он и на телевидении не работает? А Иннокентий Скородум? Точно ли он знаменитый писатель? Может, все его творчество сводится к интернетовским постам? Боже, да кто все эти люди! Мы с ними в сущности не знакомы, как с прохожими на улице, так можно разговориться с первым встречным. Однако Полина чувствовала с участниками группы какую-то невидимую, корневую связь. «Точно — паутина», — проговорила она одними губами. За стенкой работал телевизор, передавали утренние новости. Мать сидела на кровати, уткнувшись в экран с тарелкой вишен, красивших простынь кровавыми пятнами, и Полина Траговец, глядя на нее из дверей, подумала, что не доживет до ее лет. Чтобы окончательно сбросить сон, Полина Траговец умылась, потом села за компьютер и написала от имени Ульяны Гроховец:

«Прожить надо так, чтобы после смерти осталась куча долгов, и на похоронах все молчали, потому что о покойниках плохо не говорят».

А от Модэста Одинарова добавила:

«Хороший совет, но запоздалый».

Это понравилось Иннокентию Скородуму. Он поделился этим постом у себя на странице, добавив с печальным смайликом:

«Какая разница, как прожить? Все равно это не жизнь».

Сидор Куляш также видел сны. Он долго потом носил их в себе, осторожно ощупывая изнутри, как мать ребенка, пытался осмыслить их содержание, превратив в слова, поведать жене или бумаге. Но у него это не выходило. Потому что во сне Сидор Куляш был умнее. Там он читал прославленные в веках книги, которые казались ему гениальными, но когда, проснувшись, брал их в руки, не мог осилить и страницы. Во сне он чувствовал запахи, которые были свежими, словно после дождя, а наяву жил, будто с заложенным от простуды носом.

— Мама, — звал он во сне покойную мать. — Почему ты меня не любила?

— Любила, — эхом откликалась она.

Мать приходила веселая, беззаботным смехом напоминая юродивую, и Сидор Куляш во сне понимал, что стал уже старше нее, и может во всей неприкрытой наготе видеть совершенные ею ошибки, которые у него нет сил простить.

— Глупая, глупая! — твердил он, пока мать, обиженная, не исчезала.

И тогда Сидор Куляш просыпался, упираясь взглядом в фотографию молодой улыбавшейся женщины, висевшую на стене напротив. Ему хотелось повернуть ее лицом к обоям, но он только кусал губы, точно в детстве, когда его оставляли одного на жарком опостылевшем пляже. Целыми днями он потом равнодушно скользил взглядом по фотографии, которая сливалась для него с джунглями обоев, вспоминая мать так же редко, как отца, — тот постарел, согнулся и при встрече говорил всегда одно и то же:

— А ты вырос… С деньгами все нормально?

— Нормально, — эхом откликался он.

Потом Сидор Куляш спрашивал о здоровье и, не дождавшись ответа, как обычно переводил разговор на свою работу, думая при этом, что люди не меняются, что во сне отец по-прежнему распоряжается банком. Уставившись на морщинистые ладони, которые потирал, казалось, для того чтобы спрятать, Куляш-старший невпопад кивал, а когда приходило время прощаться, поспешно обнимал сына, скрывая теперь руки у него за спиной, и по привычке произносил:

— Ну, передавай привет матери.

Сидор Куляш крепко прижимал отца к жирной груди и не мог понять, у кого из них двоих катятся слезы. А потом просыпался. Сидор был поздним ребенком и с годами стал понимать, что совершенно не знает отца, который большую часть жизни провел до его рождения и при всем желании никогда не поймет его. Лежа в постели, он твердо обещал себе позвонить отцу, которого не видел с похорон матери. Но свое слово так ни разу и не сдержал.

После того как Сидор Куляш захотел сделать репортаж о Раскольникове, в группе к нему стали относиться настороженно. «Завидуют, — по-своему понял он, когда его сообщения перестали комментировать. — А сами мечтают попасть в кадр». Но в глубине ему было обидно, и он оживился, когда Аделаида, казалось, подтвердила его предположение:

«А можно мне попасть на телевидение? Я могла бы принять участие в ток-шоу».

«Их много. В каком именно?»

«Да в любом, у меня обо всем есть свое мнение».

«Свое ли? — подумал Сидор Куляш. — Стоит ли с ней говорить?» Но выбирать не приходилось:

«И все же определитесь. Какое ток-шоу вам больше нравится?»

«Мне абсолютно все равно! Они же на одно лицо».

И тут Сидор Куляш понял, что его разыгрывают.

«Пожалуй, ограничимся этой группой. Кстати, роль дуры у вас хорошо получается!»

«Репетирую ток-шоу», — парировала «Аделаида» с кучей язвительных смайликов.

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Зинаиде Пчель. Хотела к ним присоединиться и Полина Траговец. Но, вспомнив, что участники группы ей уже снятся, решила этого не делать. «Пора лечь на дно, — закрыла она сайт. — Иначе можно рехнуться».

Сидор Куляш тоже каждый день давал себе слово больше не появляться в группе. И каждый раз его нарушал.

— Сам как вечер — в интернет, — коротко рассмеявшись, похлопал его по плечу начальник. — В жизни-то и поговорить не с кем.

— Эт точно, — кивал Сидор Куляш. — И в интернете все умнее, как в телестудии.

— Это потому, что вживую не видишь.

— И не дай бог!

Сидор Куляш убеждал себя, что дискутировать с членами интернетовского сообщества, все равно, что разговаривать с телеведущей, поставив перед собой банку пива. Но приходил вечер, принося тоскливое одиночество, заставляя вновь окунуться в аквариум по ту сторону экрана.

«У меня жена пустая, холодная как рыба, — хотелось написать ему. — А развестись боюсь — идти некуда, да и привык». А вместо этого он рассуждал о том, почему каждый последующий муж хуже предыдущего, распространялся о коммуникационных технологиях и рисовал картины далекого будущего. Раскольников больше не объявлялся, и Сидору Куляшу для репортажа пришлось довольствоваться тем, что есть. Он сделал упор на моральной стороне произошедшего в группе, живописуя страшный выбор, перед которым поставил ее убийца. «А как бы поступили вы?» — рефреном повторял он, обращаясь к зрителям. На этом вопросе строился весь репортаж, однако про исключение Раскольникова из группы, в котором он сыграл главную роль, Сидор Куляш умолчал. В репортаже рассказывалось о сострадании, которое все мгновенно испытали к Авелю, о том, как незнакомые люди собирали деньги, чтобы выкупить его жизнь, и наконец о вмешательстве доблестной полиции, взявшей дело в свои руки. «Никаких уступок шантажистам, — объяснял актер в полицейской форме, нанятый Сидором Куляшом вместе с реквизитом. — К тому же ваша жертва абсолютно бесполезна, в преступном мире свои законы, и киллер, взявший “заказ”, не может его не выполнить». Изменив финал, Сидор Куляш проявил репортерское чутье, шестым чувством угадав правду, точно видел мрачный сырой подъезд, в котором за железной коробкой лифта поджидал Авеля Раскольников. Все получилось в лучших традициях жанра, его репортаж имел шумный успех, и Сидор Куляш был на седьмом небе.

— Не зря в интернете сидишь, — похвалил его начальник. — Ссылку в своей группе оставил?

— Выложил видео, — уточнил Сидор. — Пусть посмотрят.

Но уже вечером он об этом пожалел.

«А вы мерзавец, — написала ему Дама с @. — Всегда это подозревала, но не до такой же степени».

«Ой, только не надо этого! — перешел он в атаку. — Умничайте у себя дома, а у репортажа свои законы: он должен быть черно-белым. Ведь никто, повторяю, никто не дал бы на нашем месте и копейки! Рассказать все как было? Хотите, чтобы зритель, узнав себя, переключил канал?»

«Вы правы, Сидор Куляш, — написал Иннокентий Скородум. — И все равно вы мерзавец».

«Отстаньте от него, — присоединился Олег Держикрач. — Лгать — его профессия».

Это понравилось Ульяне Гроховец, Зинаиде Пчель и Даме с @.

«Идите вы к черту! — подавленный числом судей, огрызнулся Сидор Куляш. — Ждите, когда этот благородный убийца постучит к вам в дверь!»

Реплика показалась всем странной, если не сказать истеричной. На самом деле Сидор Куляш переводил стрелки, выдавая собственный страх, к тому же его занятие впервые показалось ему гадким и постыдным. Он уже раскаивался, что бесцеремонно вторгался в чужую жизнь, продавая признания, выставляя нижнее белье.

Однажды он допоздна задержался на работе и возвращался, когда его тень уже двоили уличные фонари. Моросил дождь, Сидор Куляш шел под зонтом и, войдя в подъезд, остановился, чтобы его сложить. В этот момент к нему метнулась тень.

— Раскольников? — вздрогнул он.

— Захар Чичин, — усмехнулись в темноте, и Сидор Куляш ощутил у виска холодную сталь. — Не ждал?

Сидор Куляш обмяк.

— Что тебе надо?

— Опровержение. Если завтра не дашь его, то ты — труп!

Сидор Куляш проглотил язык, слова о том, что это всего лишь его работа, вылетели из головы. И он не заметил, как остался один, до боли в суставах сжимая мокрый зонт, с которого капало на ботинки.

Даша, продолжавшая заходить в группу под ником «Дама с @», вновь и вновь воображала себе эту сцену. После Авдея Каллистратова и мышиной возни на кафедре современной литературы, где она стажировалась, Захар Чичин представлялся ей настоящим мужчиной, не разделявшим слова и дела. Его прошлое казалось героическим, Даша выдумывала его жизнь, о которой ровным счетом ничего не знала, и этот романтический миф заменял ей реального Захара Чичина. Он представлялся прямым, его пороки и добродетели можно было видеть всегда анфас и никогда — в профиль. «Решительные творят историю», — повторяла она, расправляясь его руками с Сидором Куляшом, олицетворявшем для нее вселенскую пошлость. Даша сидела у окна, солнце било сквозь ее ресницы, рисуя цветными пятнами абстракционистские картины, она пыталась разглядеть в них свое будущее, которое совершенно не представляла. А за тридевять земель Захар Чичин, надев черные очки, смотрел на то же самое солнце. Ему заказали очередного «мешка», и он ждал на лавочке, пока тот выйдет из подъезда.

Время, как отрывной календарь, — выброшенный листок забывается, не успев долететь до мусорного ведра, и кто вспомнит, что много раньше был другой день, и другое солнце плясало в лужах, когда девочка в коричневом платье с белым передником, прислонив к стене ранец, прыгала через скакалку.

— Попрыгунья-стрекоза! — поцеловал ее в щеку молодой худощавый мужчина с колкими усами и чертиками в глазах.

Просунув ей ладони под мышки, он оторвал ее от земли и, озорно покрутив, подбросил высоко в воздух.

— Стра-ашно? — притворно прорычал он, ловя ее.

— Ис-чо, ис-чо! — смеялся ребенок, на щеках у которого играли ямочки. Руки у мужчины умные, сильные и способные, казалось, забросить на солнце.

Прошло много лет, ямочки у ребенка пропали, девочка больше не прыгала через скакалку, а, расставшись с очередным мужчиной, вспоминала у окна рано умершего отца и думала, что никого больше так не любила. Даша вспоминала его решительную властную походку, резкий голос, которым он одергивал начальство, и Захар Чичин представлялся ей похожим на отца, таким же немного ребячливым и нежным. Один из участников группы считал, что такое поведение определяется комплексом Электры.

ТЕМНЫЕ АЛЛЕИ

Олег Держикрач был худым, высоким, и ходил, задрав голову, точно считал звезды. Уши у него топорщились, а апоплексический затылок он прятал под длинным шарфом, так что создавалось впечатление, будто у него болит горло. Фигурой он походил на математический знак интеграла. У него был огромный нос, дремавший на лице, как извозчик на козлах. Толстые очки в черепаховой оправе делали его глаза по-детски наивными. Олег Держикрач считал себя непризнанным гением. «Всех оценивают задним числом, — чесал он затылок, вместивший столько фактов из чужих биографий, что в нем не хватило места на свою. — А прижизненную славу достигают через одно место». Снимая запотевшие очки, он протирал их двумя пальцами, и тогда, как у всех яйцеголовых, в его глазах отражалась мировая скорбь. Олег Держикрач был психиатром. «На земле можно родиться либо негодяем, либо страдальцем», — закрывшись в кабинете, вздыхал он тайком от пациентов. На своем веку он перевидал стольких, что мог составить энциклопедию душевных мук. Расхаживая по коридору, Олег Держикрач криво выбрасывал ступни, чинно раскланивался с медсестрами, как старым знакомым кивал проходившим повторный курс хроникам, от которых скрывал, что у психиатрических заболеваний есть начало, но нет конца, он приветливо улыбался «первичным», робко жавшимся к стене, и чувствовал себя богом. «Я брожу по темным аллеям их подсознания, — когда-то рассказывал он жене, крутя сигарету в желтых пальцах. — Я заглядываю в его неведомые уголки, чтобы открыть глаза на себя». Жена тогда была молода, слушала, затаив дыхание, а потом поняла, что муж видит насквозь всех, кроме себя. И с годами незаметно для него стала его домашним психоаналитиком.

«Все эти увядающие дамочки среднего возраста, — возвращался он с частного вызова. — Их мания чистоты, их змеиная улыбка: “Вот, пожалуйста, тапочки”. И действительно, гости только грязи нанесут! — Пока жена вешала его пальто, он, согнувшись на табурете, расшнуровывал ботинки. — Их проблемы яйца выеденного не стоят, но у них в голове тревожный очажок, который требует постоянных страхов. Как огонь поленьев, как пустой желудок. Ах, сын женится, а она приезжая! Ах, муж задержался на работе, а у него молодая секретарша! Нет, не тот нынче пошел сумасшедший, стыдно даже деньги брать. — Он переводил дыхание. — Раньше от чего с ума сходили? Несчастная любовь, богоискательство, от того, что решить не могли: “Тварь я дрожащая или право имею?”. А теперь? Невыплаченный кредит, диета, чтобы выглядеть как в телевизоре, все помешались на квартирном ремонте. Тьфу! Где благородство? Мещанство сверлит дыры даже в безумии! — Олег Держикрач распрямлялся с красным лицом. — Чертовы ботинки! Сними, пожалуйста. — Жена послушно наклонялась, зубами развязывая морские узлы. — А в отсутствие раздражителей мозг их выдумывает. Конечно, это лучше, чем быть заживо съеденным экзистенциальной фрустрацией. Но этого же не скажешь, вот и советую, как отвадить невестку, секретаршу… Прямо деревенская ворожея!» Олег Держикрач раскатисто смеялся.

Психиатром он был потомственным.

«На свете все сумасшедшие, — часто повторял его отец, собираясь к себе в больницу. — Только одни знают об этом, а другие нет. — Он завязывал вокруг шеи шарф, такой же длинный, как носил теперь Олег Держикрач, и добавлял: — Я знаю». Больница, где отец был главврачом, утопала летом в цветах, за которыми ухаживало женское отделение, целыми днями возившееся на клумбах, пока мужское за дощатым столом стучало слепыми костяшками домино. «Трудотерапия», — показывал на пациенток отец, и с тех пор Олег Держикрач каждый раз смеялся, вспоминая это, когда глядел на пчел. Он видел все сквозь призму своей профессии, ему казалось, что все, даже насекомые, занимаются чем-то, чтобы решить свои психологические проблемы, что их поведение также продиктовано внутренним конфликтом, и что сама жизнь вертится вокруг патологии, поразившей мировой разум. При этом в медицине Олег Держикрач давно разочаровался, считая, что норма — это холодный, равнодушный космос, а жизнь сама по себе безумие, излечить от которого невозможно, не убив ее носителя. Мать у Олега Держикрача работала у отца ассистенткой, так что при поступлении в университет у него не было выбора. Учился он блестяще, после окончания был оставлен на кафедре, где быстро защитил диссертацию. «Пишите докторскую, — поздравил его научный руководитель, старик с ясными глазами и ямочкой на подбородке. — Скоро вы нас всех за пояс заткнете». Но к чистой науке у Олега Держикрача не лежала душа.

— Не мое это, — советовался он с отцом. — Цифры, теории, а жизни нет.

— Без практики нет психиатра, — соглашался тот. — Все методы не стоят опыта, все диссертации — одного больного, которому облегчил жизнь.

Они сидели в больничном саду, за струганным столом, где поколения больных стучали костяшками домино — и обоим казалось, что знают жизнь. Это был последний год отца, который не успел выйти на пенсию, и опять у Олега Держикрача при устройстве на работу не было выбора. Он пошел в ту же больницу, где бывал с детства и где еще работала его мать. Корпуса в больнице были двухэтажные, по крышам скребли яблоневые ветки, а осенью ветер заносил в палаты с распахнутыми окнами сухую листву и яблоки, которые закатывались под кровати. Пол в коридорах был сколочен из досок разного дерева, и каждая половица скрипела по-своему, точно привносила в историю корпуса что-то свое, пытаясь рассказать ее на собственный лад. С тех пор прошло тридцать лет. Олег Держикрач выучил все скрипы сухих половиц, привык к тому, что вечерами, когда он оставался дежурным по больнице, на чердаке скреблось какое-то странное существо, подвывавшее, когда дул ветер, точно проглотило дудку, он измерял эти годы выписанными больными, отмечал их продвижением от младшего ординатора до заведующего отделением, и никогда не задумывался, как бы сложилась жизнь, не приди он тогда к отцу. «А как иначе? — был убежден он. — Все проводят жизнь в своих четырех стенах». Где-то посредине этого срока Олег Держикрач похоронил мать, а ближе к концу женился на своем интерне. Она влюбилась в него без памяти, хотя он был уже тогда похож на значок интеграла, и очки постоянно сползали на нос. Разница в возрасте была огромна, она смутила всех их знакомых, но супруги были счастливы. Олег Держикрач доверял жене служебные секреты, о которых лишний раз не рассказывал даже себе. Возвращаясь из больницы с высокими узкими окнами, которые залезали с первого этажа на второй, он подробно рассказывал, как прошел день, слыша в ответ:

— Ах ты старый, верный служака.

— Надоело, признаться, все одно и то же. Уехать бы куда…

— И куда собрался мой стойкий оловянный солдатик? Везде будет хуже…

Олег Держикрач вздыхал и, поцеловав жену, садился ужинать.

У супругов царило абсолютное доверие, но одну тайну Олег Держикрач все же держал при себе. Он был администратором интернет-группы, которую создал как площадку, где говорят правду. «С психотерапевтической целью», — убеждал он себя. Но психотерапия здесь была ни при чем, вернее, была направлена на него самого. Здесь он мог высказываться, не боясь потерять гонорар, испортить отношения, здесь его не вынуждал лгать белый халат, и он мог давать советы, которые вынес не из учебников по психиатрии, а из личного опыта. И здесь у него появлялся повод проверить себя. Когда Модест Одинаров признался, что давно стал лишним в счастливом прекрасном мире, от которого отгорожен стенами изолятора, он поделился с ним, что и его посещает сходное ощущение. Он сделал это, отчасти чтобы поддержать Одинарова, а отчасти — чтобы выговориться.

«А может, всему виной возраст? — предположила «Дама с @. — Я наблюдала подобное у стариков».

Весь день Олег Держикрач был угрюм и сосредоточен, зло отдавая распоряжения медсестрам, отменив обычный обход, а после работы отправился в дорогой ресторан. Наклонившись, чтобы не задеть дверную перекладину, он быстро окинул взглядом заполненный зал.

— Добрый вечер, — подскочил лысоватый метр.

— Подальше от музыки, — властным голосом распорядился Олег Держикрач, будто у себя в отделении.

Она сидела в одиночестве перед бутылкой красного вина, и было не похоже, что кого-то ждала. Яркая, вызывающе накрашенная блондинка, она с привычным равнодушием отворачивалась, ловя мужские взгляды. Она не производила впечатление скучающей дамы, пришедшей в поисках приключений, она знала себе цену, точно на ней висело объявление: «Дорого. Прежде чем глазеть, проверь свой карман». Вечер был в уже разгаре, у оркестра медленно топтались пары. Дождавшись, пока она откажет третьему кавалеру, отходившему со смущенной улыбкой, Олег Держикрач поднялся из-за стола.

— Вы преступно красивы, — проговорил он с высоты своего роста.

Она подняла глаза, будто возвела к небу.

— И вы пришли меня арестовать?

— Только на один танец.

Она улыбнулась.

— У меня ощущение, что я лезу на колокольню, — она положила руки ему на плечи, когда они вышли к эстраде.

— Звонарь будет вам рад, — закружил он ее.

Олег Держикрач был прекрасным танцором, и хотя давно не практиковался, сразу дал почувствовать, что партнерша в опытных руках. Когда они вернулись к ее столику, Олег Держикрач без приглашения сел и, щелкнув пальцами, заказал шампанское. Он был любезен, мил и, угадывая желания, превзошел себя, как в свои лучшие годы, когда читал настроение, как открытую книгу, расхаживая с фонарем по темным аллеям чужого подсознания. Они ушли за четверть часа до закрытия, оставив лысоватому метру щедрые чаевые, а в такси молчали так громко, что водитель то и дело оборачивался.

— Прекрасный вечер, — проворковала она у подъезда. — Не хочется его заканчивать. Поднимемся ко мне?

Ее глаза засмеялись, и Олег Держикрач прочитал в них то, что было понятно и без слов.

— На чашку кофе? Как-нибудь в другой раз. Прощайте.

И повернувшись, зашагал в темноту.

Олег Держикрач любил жену и никогда ей не изменял.

Когда он вернулся, жена уже спала, а на плите его ждал холодный ужин. Олег Держикрач быстро разделся, но, прежде чем лечь в постель, зашел в интернет-группу.

«Я не старик», — ответил он Даме с @.

«Диагнозы раздавать полдела, — говорил ему отец. — Например, жалуется больной, что жизнь наблюдает будто со стороны, что все происходит будто не с ним. Деперсонализация? А вдруг у него философский склад ума? Вдруг он рефлексирует? Или жалуется, что живет будто во сне. Дереализация? А может, в нем пробуждается буддист? Между религией и психиатрией грань тонкая. Мы же как судим: жалуется — значит, наш профиль. А способны мы в чужую шкуру залезть? Способны вчувствоваться? В юности напротив моего дома, окно в окно, была больница с длинным коридором, по которому вечно бродили серые халаты. И каждый вечер кто-нибудь из больных, встав к решетчатому окну, тоскливо смотрел на меня, на мою насквозь просвечивающую комнату, так что мне приходилось задергивать штору. Шли годы, больные менялись, но, передавая вахту у окна, глядели все с той же неизбывной печалью, став для меня причиной раздражения. Я никак не мог свыкнуться с этим постоянным напоминанием о страданиях и подумывал даже переехать. Пока однажды не отравился какой-то дрянью и по “скорой” не загремел в ближайшую больницу, где, подойдя вечером к решетчатому окну, смотрел на свою комнату, в которой горел свет. Выписавшись из больницы, я смотрел теперь на больничное окно другими глазами и больше не задергивал штор».

Вспоминая отца, Олег Держикрач нервно крутил сигарету и думал, что тот был прав только наполовину — есть схемы, методики, которые разрабатывают теоретики, чтобы практикующий врач мог их применять. К тому же невозможно понять другого, как себя, невозможно примериться к каждому, когда в отделении лежат несколько десятков, сменяя друг друга, так что на всех никого не хватит. Однако Олег Держикрач считал своим долгом по мере сил следовать завету отца: старался проникнуть в чужую душу, ощупывая в потемках каждый ее уголок, примеряя на себя ее страхи, устремления, надежды, как актер, который вживается в образ. «Чтобы вытащить из горящего дома, — говорил отец, — надо самому туда зайти. И надо выработать защиту от огня, иначе и человека не спасешь, и сам пропадешь». И Олег Держикрач терпеливо нес крест, делая все возможное для человека, в остальном уповая на Бога.

— Мы же как проститутки, — жаловался он жене. — Знаешь, сколько приходится через себя пропустить.

— Бедненький, тебе сложнее, нельзя расслабиться и получить удовольствие.

Ему часто приходилось изображать сочувствие, внутренне соблюдая дистанцию, давать советы, которым бы он сам не следовал, но он ясно видел — так будет легче перенести страдания, а разве не в этом была его цель, как врача? «Все терпят, все приспосабливаются, — часто убеждал он, играя в искренность. — Думаете, мне не приходится? Это же закон жизни, эволюции. А разве церковь не призывает к смирению?» Однако в интернет-группе, не скованный врачебной этикой, он хотел донести иную истину, в которую слепо верил:

«Не слушайте тех, кто говорит: “Все же делают то-то и то-то, значит, и вы должны”. Вы не все! И чем раньше вы осознаете себя личностью, тем быстрее начнете собственную жизнь».

«А работать кто будет? — съязвил Иннокентий Скородум. — Только личностью себя осознают, а тут сортиры пора чистить!»

«Связывать род занятий с личностной самооценкой — распространенное заблуждение. Если вы внутренне свободны и уверены в себе, то почему бы и не чистить?»

«А вы пробовали? — вмешался Раскольников. — Гальюн на три очка, куда вся рота справляет нужду? Это даже не свинарник, наше дерьмо злее, самую душу пробирает. А сапогом по лицу получали?»

Прочитав это, Олег Держикрач смутился.

«Жизнь всех ломает, шьет под себя, а выкройки у нее — ого-го какие! — добивал его Иннокентий Скородум. — Бывает, попадается бракованный материал, но обыкновенно сошьют какой-нибудь дурацкий колпак и называют его цивилизованным платьем».

Олег Держикрач окончательно растерялся. Здесь ему не помогал профессиональный опыт, в группе он был равный среди равных, как ребенок, принимая близко к сердцу и обиды, и похвалы.

«Конечно, мир уродлив, но цивилизация еще пребывает в младенчестве, — начал оправдываться он, будто был виноват в ее возрасте. — Однако при всех обстоятельствах мы должны оставаться людьми, должны стремиться быть лучше, самосовершенствоваться. И тогда мы увидим небо в алмазах».

«Этим словам сто лет, — встряла Зинаида Пчель. — И что мы увидели? Две мировые войны, миллионы убитых… А ядерный гриб? Это и есть небо в алмазах?»

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Зинаиде Пчель.

«Прогресс? — приписала последняя. — Вместо конюшен стоянки, вместо лошадей машины, вместо писем мобильные, а хвалятся все также рысаками, встречают по одежке и сравнивают банковские счета. Как было нутро гнилое, так и осталось».

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Раскольникову.

— Как они не понимают, — жаловался Олег Держикрач жене. — Они говорят о том, как есть, а я о том, как должно быть.

— Кто «они»? — недоумевала жена.

— Да все…

Несмотря на профессию, Олег Держикрач так и не научился врать. Ему стало неловко.

— Ты же понимаешь, все меняется, а люди в большинстве своем этого не замечают и живут привычками, — перевел он разговор. — Была у меня пациентка, ненавидела велосипедистов: «В парке с ребенком погулять не дают, на дороге под колеса бросаются!». Знаешь, что я рекомендовал? Пересесть на велосипед! Через неделю от ее фобии не осталось и следа. Кстати, у нас новенький появился, забавный экземпляр.

— Тебя еще можно удивить?

— А вот представь себе!

ПАЛАТА № 6

Никита Мозырь, и правда, выделялся среди больных в серых замызганных халатах.

— Переведите меня, профессор, — попросил он на другой день после поступления. — Мне здесь невыразимо скучно.

— А в чем дело, голубчик? — улыбнулся Олег Держикрач.

— Эти «овощи» целыми днями разгадывают кроссворды и смотрят телевизор. От их разговоров уши вянут.

— Боюсь, в других палатах то же самое. Потерпите, вас скоро выпишем.

— Э, нет! На воле еще скучнее.

Олег Держикрач пожал плечами.

— Значит, вас не смущает то, где находитесь?

— Нисколько. С возрастом все задвигаются, каждый — в свою сторону.

— Это только кажется. Рецептов «задвинуться», как вы выразились, не так уж и много.

— Значит, и здесь выбор не велик…

Никита Мозырь сидел на кровати, вытянув скрещенные ноги, и опирался спиной о стену, к которой подложил подушку.

— Радикулит, — перехватил он взгляд Олега Держикрач. — Не страдаете?

Олег Держикрач промолчал, вопросы здесь задавал он.

— Я посмотрел вашу историю, голубчик. Жалуетесь, что жизнь проходит мимо?

Никита Мозырь вздохнул.

— Это не ответ.

Вторым правилом было то, что вопросы не должны повисать в воздухе.

— Как вам сказать… В жизни можно быть актером, а можно зрителем. Я выбрал второе. А теперь мучаюсь: вдруг ошибся?

«Поздновато», — чуть не ляпнул Олег Держикрач.

— Оно конечно, жизнь уже позади, — прочитал его мысли Никита Мозырь. — Но умереть-то никогда не поздно.

Он поправил подушку, оглядевшись по сторонам бегающими глазами. «Мания преследования», — вспомнил Олег Держикрач.

— Ерунда! — опять угадал Никита Мозырь. — Я сказал доктору в приемном отделении: «Если вы что-то слышите, значит, это кому-то нужно». И это мания преследования? За мной следят? А за вами? Наивный вы мой! Каждый ваш шаг вычислен, мы все под колпаком.

— Ну, я бы не обобщал.

Никита Мозырь посмотрел испытующе, глаза в глаза, будто в голову ему ударила странная мысль, потом вытер взмокший лоб:

— И то верно, чего за вами следить? Утром дома, днем здесь, а вечером по частным вызовам. Всегда под рукой.

Олегу Держикрачу стало неприятно, и он взял тот снисходительный тон, которым защищаются психиатры:

— Вам, конечно, виднее.

— А то! У вас же все на лбу написано. Да вы только не обижайтесь, программа у вас такая.

— Какая?

— Та, что выживать заставляет, и раз вы так приспособились, значит вам так легче.

Олег Держикрач вспомнил Раскольникова с его кораблем-призраком, летучим голландцем, на котором каждый выживает, как может.

— Занятно, — протянул он. — Ну, мы еще с вами побеседуем.

Никита Мозырь был раньше программистом.

— Тело — «железо», психика — софт, программное обеспечение, — говорил он соседям по палате, когда ушел Олег Держикрач. — Соответствуешь своим программам — счастлив, нет — страдаешь.

Слева от него лежал Санджар Быхеев, набожный казах, косившийся на тумбочку, где к стакану был приставлен маленький образок.

— Веришь в Бога? — обратился к нему Никита Мозырь. — Значит, в тебе такая программа. А не веришь, значит, другая. А есть ли Бог на самом деле, не важно.

Санджар Быхеев накрылся одеялом.

— А в церковь зачем тогда ходят? — глухо донеслось оттуда. — Если Бога нет. По твоему, все дураки?

Никита Мозырь всплеснул руками.

— Как зачем ходят? Земля-то — госпиталь для неизлечимых, тут к любой знахарке побежишь. — Он ждал возражений, но его встретило уничижающее молчание. — А как можно, изо дня в день наблюдая бессмыслицу, верить в божественный смысл?

— Так именно поэтому! — не выдержал Санджар Быхеев. — Смысл все обретают там.

— Так нет никакого «там». Есть только хреновое «здесь». И река течет, не зная зачем. И компьютер работает, пока из штепселя шнур не выдернут.

Одеяло зашевелилось.

— Тебе у нашего батюшки исповедаться надо, он тебе быстро мозги вправит.

Никита Мозырь рассмеялся:

— А почему этот человек в чудаковатой одежде должен знать больше меня? Я же не ребенок.

— Я тоже!

— Ну, на этот счет у меня сильные сомнения. Ребенок убежден в жизни вечной, а ты на воскресение надеешься — то же бессмертие, только с отсрочкой. Ребенок ты и есть.

В повисшей тишине стало слышно, как в коридоре пробили настенные часы.

— Нет, мы не машины, — усмехнулся альбинос с ясными васильковыми глазами. — Разве машины себя осознают?

Ощутив поддержку, Санджар Быхеев вылез из-под одеяла и смотрел на всех сощуренными глазами. Никита Мозырь вытянул перед собой пальцы с длинными, как у хищной птицы, ногтями.

— Могут и осознавать, если они с обратной связью, с критикой. — Он согнул пальцы, так что ногти впились в ладонь. — А что вы осознаете? Что сумасшедший?

Сосед промолчал.

— И вообще, что мы знаем из того, что мы знаем? А что нам только кажется? Вот Санджар в бога верит, а в какого? В того, который бомжам мыл ноги? А может, в Деда Мороза, который положил под елку бессмертие? Он и сам не знает. — Никита Мозырь глубоко вздохнул. — А вы, собственно, чем занимаетесь?

Сосед скривился:

— Лежу в сумасшедшем доме.

— А до этого?

— До этого? — Он на мгновенье смолк, точно решая, было ли «до этого». — До этого преподавал философию.

— Ну надо же! Дофилософствовались, значит. Кант сказал, Гегель заметил. А сами-то что?

— Вы о чем?

— Сами-то что обо всем думаете?

Сосед уставился в стену.

— А что думать? Этим летом у нас в доме завелись мыши, обычные серые полевки. Скребутся ночами, шуршат. Мы вечером стали газеты клеем намазывать и везде по полу раскладывать. Утром несколько попадались. Проснувшись, я первым делом их, уже мертвых, со слипшейся шкуркой, заворачивал в ту же газету и выносил на свалку. А раз выхожу — одна живая, дергается, лапки пытается освободить. До обеда подождал, а она все не умирает. И к вечеру все так же боролась за жизнь. Жаль мне ее стало. Хотел даже отпустить, да возиться поленился. Так живую на помойку и выбросил. Дождь накрапывал, а я все стоял, глядя, как она намокшую газету грызла.

— Вы что — садист?

Никита Мозырь раздвинул губы в немом оскале.

Сосед пропустил мимо.

— А стоило ли ей так мучиться? Может, лучше было сразу, как все?

Никита Мозырь застучал ногтями по обнаженным деснам.

— Мрачнуха, однако. По-вашему мы тоже кому-то мешаем, и на нас так же смотрят?

Сосед пожал плечами.

— Да уж, философ, и как вы с такими мыслями только живете?

— Так меня и не спрашивают. — Он задрал палец в потолок. — Может, *там* нас всех спросят, только вы в высший суд не верите.

— А я верю! — подал голос Санджар Быхеев. — Всех, всех вас осудят, как в Писании сказано!

— И отчего православные такие добрые? — зевнул Никита Мозырь. Положив подушку к изголовью, он спрятал под нее свои длинные ногти. — Ладно, выключайте свет, спать пора.

Солнце било в распахнутое окно. Свернувшись под одеялом, Никита Мозырь тут же захрапел.

Кровати в палате были привинчены к полу. Раз и навсегда. А распорядок намертво прибит ко дню. Утром очередь в уборную сменялась очередью в столовую, а та — в процедурную. Сестры делали уколы, раздавали таблетки. А потом все ждали обхода врачей. Олег Держикрач по-прежнему решительно расхаживал по больничному коридору, отдавая распоряжения. Раньше он не держал в памяти пациентов, считая это вредным, отдавая работе лишь служебное время, но Никита Мозырь не шел у него из головы, и неожиданно для себя он зачастил в шестую палату.

— Ну, Никита, что сегодня мешает жить? — говорил он, молодцевато подтягиваясь, отчего казался еще выше.

Мозырь сидел в обычной позе у стены с подушкой, уйдя в свои мысли глубоко-глубоко, так что без движения его ноги стали затекать.

— Как и всегда, — оскалился он в ответ, подняв голову и зажмурившись, точно вернулся с того света. — То же, что заставляет выживать.

— Программы?

— Они самые. Но сегодня больше не внутренние беспокоят, а внешние. Зачем нам мозги пудрят? «Будь таким, будь сяким!» А в подоплеке: «Будь как я!». Им от этого лучше?

— Да кому им? Тем, которые следят?

— А весь секрет в том, — пропустил Никита Мозырь, — чтобы вести жизнь, свойственную своим программам. И наплевать на всех.

— А если всем будет плевать?

— Страшно подумать! Сейчас-то всем на всех только чихать.

Олег Держикрач усмехнулся. Он вспомнил свои сообщения в группе, но в чужих устах его мысли выглядели глупо. А Никита Мозырь гнул свое:

— Каждый выгоды ищет, я тех, кто мозги пудрит, понимаю. Но зачем их слушают?

У Олега Держикрача в памяти всплыл вдруг Сидор Куляш, превозносимое им медийное пространство, где после своей гибели поселились боги.

— Значит, и у них своя программа, — произнес он, чтобы не молчать.

Никита Мозырь выдернул перо, торчавшее из подушки, и, сдунув с ладони, сосредоточенно наблюдал, как оно, кружась, точно затягиваемое воронкой, опускается на пол.

— А если в программе сбой? Это и есть ненормальность? В разные века с ума сходят по-разному. Разве не безумцы изгоняли бесов? Разве не сумасшедшие призывали к бедности? А представьте инопланетянина, который изучает нашу жизнь. Ему говорят: цивилизация, закон… Уверяют, жизнь бесценна, за убийство из-за решетки не выйдешь. А потом сбрасывают бомбу, и миллионов нет. Война, объясняют. Боже, закричит инопланетянин, да они все ненормальные!

— Да, все зависит от точки зрения, — промямлил Олег Держикрач, вспомнив пациентку, которой посоветовал пересесть на велосипед. Однако такой радикальный взгляд на вещи пригвоздил его к стене. «Еще один Раскольников», — подумал он. — Зачем ему я? Пора выписывать».

— У каждого своя правда, — повернулся он к альбиносу с голубыми глазами.

— И своя выгода, — выстрелил ему в спину Никита Мозырь.

Преподаватель философии лежал с попыткой суицида. «Холост, детей нет, — сообщала его история болезни. — Жалобы на эмоциональную опустошенность и утрату вкуса». Сначала преподаватель философии пошел на поправку. Он легко вступал в беседу, называя свою попытку самоубийства ребячеством. «Нервы сдали, — краснел он. — Будто и не со мной было». Но в последнюю неделю ему стало хуже. Он отказывался от еды, и его держали на капельницах.

— Опять тарелка нетронута, — деланно рассердился Олег Держикрач. — Так никогда не поправитесь.

— А зачем? Я не чувствую, что живу, может, почувствую, как умираю.

— Ну, вы же философ, — переменил тон Олег Держикрач. — Разве можно поддаваться настроению? Будьте стоиком!

Олег Держикрач бодрился, но, заглядывая в помутневшие васильковые глаза, думал, что его собственная тень давно не повторяет движений, а слова не отражают правды. Посидев с минуту, он поспешно встал, в дверях пожелал всем скорейшего выздоровления, нагнувшись, чтобы не задеть косяк, вышел. Вызвав в кабинет сестру, увеличил альбиносу дозу транквилизаторов.

— Скотская у меня работа, — жаловался он жене. — Кажется, уже столько лет, а привыкнуть все не могу. Может, не то избрал?

— Ну что ты, — успокаивала жена. — Ты же психиатр от бога.

«Значит, профессия от дьявола», — добавил про себя Олег Держикрач.

Лето стояло невыносимо жаркое, окна в палатах держали открытыми, так что знойный воздух, как беглец, проникал сквозь решетки. День походил на день: в процедурной из рук медсестры получали таблетки, запивали водой, демонстрируя после язык, в столовой после ужина смотрели сериалы, а перед сном Никита Мозырь развлекал всех странными речами. Санджар Быхеев проходил комиссию на получение инвалидности, и он то и дело приставал к казаху.

— Ты вот, Санджар, инвалидности добиваешься, чтобы сесть на группу и жить на пенсию. Так не волнуйся — ее за одну веру в воскресение из мертвых дадут. А эпитафией что возьмешь? «Оки-чмоки, еще увидимся»?

Все ржали, но у казаха были крепкие нервы, и он лишь молча крестился на образок.

— Ты, Санджар, верно, и в Страшный суд веришь, — донимал его Никита Мозырь, — а я как представлю своих предков до семнадцатого колена воскресшими, так в дрожь бросает. Бородатые, немытые, за царя-батюшку лбы в церквях расшибали. Они от меня дальше, чем обезьяна…

— Ты что же, анархист? — не выдерживал казах.

— Еретик и смутьян. И мои же предки меня бы сожгли! Уж лучше произойти от обезьяны.

— Так и время было другое, думаешь, над нашим не посмеются? А судить будут каждого по своей мерке. Программе, по-твоему.

— Точно, когда воскресну, у меня с предками произойдет конфликт программ. Поэтому обезьянья для меня безопаснее, и вирусов нет — не заразишься.

— Выходит, вы иван, не помнящий родства? — повернулся от стенки преподаватель философии. — И суда над собой не ждете? И оценивать себя не разрешаете?

Никита Мозырь вздохнул.

— Один человек на свете, и нет у него ни отца, ни матери, ни дедов, ни прадедов. А дети его, как перекати-поле: дунул ветер — и нет их. Ответ ему держать не перед кем, потому что нет у него ни заступника, ни судьи, кроме самого него.

— Да вы прямо малый пророк…

— Каков есть.

— Программа у него такая, — зло проворчал Санджар Быхеев и, прекращая дискуссию, выключил в палате свет.

Осень принесла с собой обострение, в больнице был наплыв, так что Олег Держикрач сбился с ног. В интернет-группе он теперь появлялся редко, решая, кому передать администраторство. Ему казалось, что группа выродилась, превратившись в сообщество анонимных маргиналов. «На работе хватает, — думал он. — Черт-те что обсуждают, превратив группу в клуб знакомств». Сообщения Модэста Одинарова отправляли с компьютера Ульяны Гроховец, IP-адреса совпадали, и Олег Держикрач сделал неправильный вывод. В болезнь Модеста Одинарова он не поверил — приговоренные так себя не ведут. Олег Держикрач был опытным психиатром. Не поверил он и Раскольникову: мало ли сопляков насмотрелись гангстерских фильмов, и история заказного убийства выглядела в его глазах неубедительно. Вынося на голосование вопрос об исключении Раскольникова, Олег Держикрач ставил эксперимент, ему была интересна реакция группы, он гадал, какое решение примут ее члены. Едва сдерживая усмешку, он видел, что все клюнули на выдумку Раскольникова, видел испуг, в котором не было сострадания, и относился к ним, как к паукам, которых рассматривал в банке. Олег Держикрач был хорошим психиатром. Все люди были для него пациентами, а к ним он относился, как к подопытным кроликам, еще с университетской скамьи, когда собирал материал для диссертации.

Осень пришла неожиданно, как почтальон, стучавший дважды — обрушив дожди и шквалистый ветер, так что в больнице пришлось раньше срока закрывать ставни. В палате № 6 не стихали монологи Никиты Мозырь.

— Что такое религия? Самовнушение, гипноз. А ее объектом может быть кто угодно. Вон, женщины в детей уходят, в любовь… — Он глубоко вздохнул. — А когда любовь проходит, становятся богомолками, программа-то в обоих случаях одна…

— А я во Христа верую! — просветлел вдруг Санджар Быхеев.

— А до него в Ра бы верил или в Зевса. А будь индусом — в переселение душ. А завтра станут в чудо заморское верить, и ты за компанию.

Замотав головой, Санджар Быхеев трижды перекрестился.

— Будешь, будешь, никуда не денешься, свою программу не обманешь.

Преподаватель философии поднял голову, подперев ладонью.

Сусальным золотом горят

В аду искусственные церкви.

Из них игрушечные черти

Глазами страшными глядят, —

мрачно продекламировал он, смотря на всех безумными глазами. И вдруг дико расхохотался, так что стоявший под дверью Олег Держикрач вздрогнул.

«Главное верить, а во что — не имеет значения», — думал тот, слушая монолог Никиты Мозыря, но теперь посчитал нужным вмешаться, плечом толкнув дверь:

— Нуте-с, как себя чувствуем?

— Прекрасно, — ответил за всех ровным голосом преподаватель философии. — Будто студент-первокурсник, обратившийся в слух. Только вот лектор у нас — хоть вешайся.

— Тогда оставим в стороне высокие материи и перейдем к вещам прозаическим — стол, стул, лекарства.

Олег Держикрач натянул одну из своих выработанных за жизнь улыбок и сел на кровать Санжара Быхеева слушать его жалобы.

«Можно поклоняться воздуху, свету или земному притяжению, — написал он вечером в группе. — За что притяжению? За то, что дарует жизнь, не позволяя отторгнуть нас враждебному космосу. Но это будет лишь объяснением нашего глубинного желания строить все на незыблемом камне, трех китах или черепахах, это будет его рационализация. Большинство же обходится верой в деньги, собственный дом и церковь. Однако церковь, как больница, имеет дело с массой, рассчитывая свои рецепты сразу на всех, а излечить отдельного человека не в силах».

Это понравилось Иннокентию Скородуму и Сидору Куляшу.

К этому времени мертв был уже не один Модест Одинаров. У Полины Траговец скончалась мать. «Неужели это случилось», — думала она, вернувшись с кладбища, не осознавая того, к чему уже давно готовилась. У нее перед глазами стояли хмурые лица могильщиков, комья сырой земли, летевшие со скрежетавших лопат. «Мама, зачем ты сгубила мне жизнь?» — хотела спросить она у мертвой, но знала, что до нее не достучаться, как и до живой. «Это и есть жизнь, ее слепок, — глядела Полина Траговец на злое даже в гробу старушечье лицо, похожее на восковую маску. — Прожить долго — значит принять все, как есть, подчинившись, плыть по мутному течению жизни. Боже, в кого она превращает!» Полина Траговец обошла разом опустевшую квартиру. «Ну вот я тебя и развязала», — слышался из каждого угла скрипучий голос. «Моя мать умерла давным-давно, — успокаивала себя Полина Траговец. — Сегодня я похоронила только тело, с которым жила все эти годы». Но заклинания не действовали. Опустившись на пол, Полина Траговец ковыряла мизинцем сальные обои и тихо плакала.

В больнице Олег Держикрач практиковал сеансы психоанализа. Укладывая на кушетку, он запирал на ключ кабинет, зашторивал окно, приглушал свет, и его мягкий вкрадчивый голос погружал в глубокое детство, заставляя вспомнить мокрые пеленки, колыбельную, которую напевала старая няня и смородинное варенье на столе, накрытое тряпкой от мух. Начинал Олег Держикрач всегда издалека, но постепенно наводил разговор на ранние переживания, никогда не спрашивая в лоб, добивался, что пациент сам отвечал на незаданные вопросы.

— Хотелось мне переспать с матерью? — перебил его длинную речь Никита Мозырь. — Нет, мне хотелось ее убить!

— За что? За что же, голубчик, вам хотелось ее убить?

— Отцу скандалы закатывала. Мне жизнь отравила. Психопатка была, царство ей небесное, истеричка.

— А отца любили?

— Боготворил. Умер он вперед матери, и я осиротел не с того боку.

Не удержавшись, Олег Держикрач рассмеялся:

— У вас какой-то вывернутый Эдипов комплекс.

— Как и вся жизнь. Хотя, по-моему, вывернут ваш психоанализ.

Они замолчали, стало слышно, как за шторой бьется мотылек.

— А знаете, — сменив тон, устало произнес Олег Держикрач, — я себя чувствую постаревшим.

— Это ничего. У всех такая программа. Конечно, старость не радость. Ограничиваются возможности, растет число тех, кем уже не стать.

— То есть?

— Ну, футболистом, например. Или математиком. А с другой стороны, приходишь к себе, к тому, что есть, к единственно оставшемуся, раскрывающему подлинную суть.

Олег Держикрач тронул лоб:

— Надо же, никогда так не думал. — Он открыл кабинет, жестом предлагая Мозырю подняться. — Похоже, вы лучше себя знаете, и мой психоанализ не нужен.

Но была еще одна причина, по которой он перестал устраивать сеансы с Никитой Мозырем. Шизофрения заразна, и теперь, когда Олег Держикрач оставался один, у него появлялось чувство, что за ним наблюдает кто-то невидимый, кому ведомы все его мысли, кто знает, зачем он живет, надеется, мечтает, и кто навсегда останется для него загадкой. «Сам виноват, — решил Олег Держикрач. — Ослабил защиту — подцепил навязчивость». Положив в стол историю болезни Никиты Мозыря, он дал себе слово пока не заходить в палату № 6.

Острые предметы в отделении были запрещены — в столовой выдавали алюминиевые ложки, а брили по желанию раз в три дня, приспособив для этого кресло в ординаторской, но преподаватель философии нашел выход. Ночью, когда в коридоре изредка слышалось шлепанье босых ног и сопение уснувшей няньки, он, встав на табурет, вывинтил лампочку, тускло светившую в туалете. А утром его нашли на стульчаке, он уже посинел, и с перерезанных вен у него, как у всех покойников, не капала кровь. Няньку уволили, его постель застелили свежим бельем, а сестры, выполняя распоряжение главного врача, зорко следили, чтобы в палатах под угрозой выписки не обсуждали происшедшего. И через день уже казалось, что все пошло по-прежнему, жизнь, упакованная в будничный больничный распорядок, брала свое, и никто не вспоминал преподавателя философии. Поступившие новенькие уже не подозревали о его существовании, его смерть не давала им повода задуматься о своей, но она странно подействовала на Никиту Мозыря.

— Санджар, послушай, а в твоей церкви есть приют?

— Хочешь после больницы на дармовщинку устроиться?

— Чудак-человек! Я за стариками хочу ухаживать.

— Иди лучше в хоспис, — оскалился казах. — Для умирающих.

— И пойду. Хоть какой-то будет прок.

— А что толку без веры помогать? Все равно умрем. Другое дело во славу Божью.

— С Богом-то любой сможет, а ты попробуй без Бога. Вот где сострадание. Впрочем, что с тобой говорить.

Никита Мозырь отвернулся, упрямо сжав губы. Помолчали.

— А тебе-то зачем? — не выдержал Санджар Быхеев, узкие глаза которого горели любопытством.

— Не знаю. Вот философ ушел, а я себя виню.

— А мы-то здесь при чем? — расширились глаза у казаха. — Больно ты жалостливый. Тоже программа?

— Она самая. Я жизнь только рядом со смертью чувствую.

— Ты эти мысли гони. Если жить хочешь.

— Мысли? То есть импульсы в мозгу, которые допускает программа? Как же их прогонишь? — Соскочив с кровати, Никита Мозырь стал вышагивать по палате, как маятник, из угла в угол. — Разве в Бога поверить, и эта мысль вытеснит остальные. И останешься с одной мыслью, правильно?

Санджар Быхеев промолчал, но у него перекосило лицо, и, сложив из пальцев крест, он все время направлял его в ту сторону, куда перемещался Никита Мозырь.

— Вот ты, Санджар, на все вопросы ответ нашел, и состоит он из трех букв — Бог. И правильно! Просто и ясно, а то можно, как философ, и руки на себя наложить…

Никита Мозырь остановился в углу, поглощенный своими мыслями, отвернулся к стене, став похожим на наказанного ребенка.

— Умирать страшно, — вдруг сказал казах.

— Умирать страшно? А жить? Жить еще страшнее. Ладно, давай мириться.

Внешне все оставалось тем же, но самоубийство преподавателя философии всполошило все отделение. Сестры ходили хмурые, взвинченные. «Не утерпел, чертов альбинос, — шипели они в сестринской, когда рядом не было больных. — Не мог в другом месте». Однако, вышколенные годами службы, заходили в палаты, набрав в рот воды. Тяжело пережил его смерть и Олег Держикрач. Случай был из ряда вон, и кресло под ним заходило ходуном. Олег Держикрач чувствовал себя старым и разбитым. Он перевидал множество смертей, начиная с университета, когда их водили в анатомический театр, где многим становилось дурно, но раньше видел их отстраненно, будто в музее, покинув который окунался в иной мир. «Может, и к лучшему, — запершись в кабинете, думал он о грозящем увольнении. — Не сгнить же в этих стенах». В шкафу напротив его стола, сложенные аккуратными стопками, пылились истории болезней, до которых у него не доходили руки, отсканировав, перевести в электронный формат, он взял несколько наугад, пролистал, вспоминая пациентов — их лица, голос, манеру говорить, — со многими он уже давно расстался, но впервые за скупым врачебным диагнозом увидел в них людей. Из кабинета Олег Держикрач вышел только под вечер. Пахло длинным пустым коридором — он тянулся за ним, как нитка, которую сматывали с клубка, пока он шел, будто в последний раз, мимо ординаторской, процедурной, закрытых палат, мимо доносившихся оттуда скрипов ворочавшихся тел и шарканья ног, пытавшихся в темноте нащупать шлепанцы. И наконец нитка оборвалась: хлопнув дверью, он вышел на улицу.

— Что случилось? — встретила его жена.

— Ничего, — отвернулся он, разматывая шарф. И вдруг разрыдался: — Я никому не нужен, никому…

Он всхлипывал, опустившись на колени, став с женой одного роста. Детей они не завели, и Олег Держикрач пробуждал в жене материнский инстинкт.

— Ты нужен своей мамочке, — гладила она его апоплексический затылок, редкие острые волосы, будто воткнутые в голову. — Разве тебе мало?

Олег Держикрач уткнулся в ее теплую грудь и вдруг увидел все со стороны — вцепившихся друг в друга детей, которых оставили в темной комнате. Тесно прижавшись, от ужаса они ни на мгновенье не могут разомкнуть объятий, спасаясь от холодного безжалостного мира. Все еще стоя на коленях, Олег Держикрач вспомнил, как отказал заболевшему Модесту Одинарову в смелости, посчитав, что у того недостаточно человеческого, чтобы по собственной воле погасить свою жизнь, пока за него это не сделала болезнь, одним за другим, как лампочки в длинном коридоре, отключив его органы чувств. Но оказалось, он мерил по себе. Олег Держикрач вдруг ясно осознал, что был ребенком, представляя членов группы своими игрушками, стерильным манекенами — без цвета, без запаха, без температуры, ведущими какую-то пластмассовую жизнь, вписывающуюся в его психоаналитические схемы, ему стало стыдно от того, что он предполагал, будто они не размышляют, не чувствуют, не рассчитывают каждый свой шаг, а живут автоматически, точно насекомые. Поднявшись, Олег Держикрач поцеловал в лоб жену, прошел к себе в кабинет, не включая света, на ощупь набил трубку и сел в кресло, выпуская табачный дым через волосатые ноздри. Он долго вслушивался в гробовую тишину, царившую в комнате, чувствуя, что кто-то разделяет его одиночество — что-то в воздухе выдавало присутствие невидимки, улыбавшегося в темноте. Выждав, пока глаза привыкнут к темноте, Олег Держикрач тоже улыбнулся — в ответ.

На другой день он пришел в больницу уверенной походкой, как человек, твердо принявший решение, и первым делом явился в шестую палату.

— Ну что, голубчик, завтра выписываем. Собирайтесь домой, — на утреннем обходе объявил он в шестой палате.

При этих словах сидевший на постели в своей обычной позе Никита Мозырь вскочил.

— Домой? Это куда? — Он вытянул руку к окну. — Туда не хочу! Там все сумасшедшие.

Взяв Никиту за руку, Олег Держикрач не улыбнулся, наоборот, он стал серьезен, как никогда.

— Понимаю, голубчик, но срок вышел, держать вас дольше не имею права. Надеюсь, вам лучше?

Никита Мозырь скривился.

— Лучше? А что такое «лучше»? Когда умирать страшнее, чем жить? — И вдруг разрыдался: — Я не люблю людей, не люблю… Как мне жить? Как жить?..

Олег Держикрач молча вышел.

— Как прошел день? — встретила его жена.

— Осточертело! С каждым приходится возиться.

Он сказал это нарочито грубо, отмахнувшись от вопросов, чтобы не будить в себе жалость. За ужином он тщетно пытался вычеркнуть из памяти тщедушного шизофреника из шестой палаты. «Бессмысленно, — думал он, запершись у себя в кабинете, — все абсолютно бессмысленно». А на другой день, зайдя на больничную территорию, сразу направился в дирекцию больницы, где написал заявление об уходе.

— Я только что ушел с работы, — позвонил он жене. — На что мы будем жить?

— Что-нибудь придумаем, — ровным голосом ответила она.

В отделении к его уходу отнеслись с внешним безразличием, будто и не было стольких лет проведенных вместе — все оставалось по-прежнему, только медсестры, встречая его, отводили глаза, гадая, кто займет его место. Собрав персонал, Олег Держикрач отдал последние распоряжения, вскользь заметив, что уходит не из-за случившегося с больным, а по личным обстоятельствам. Это никого не интересовало, бывшие подчиненные смотрели сквозь него, будто его уже не существовало, и он в конце сухо извинился, что прощальной вечеринки не будет. Обходя палаты, он чинно откланивался, советуя продолжать начатые курсы, и только в шестой долго тряс руку Никиты Мозыря, подавляя в себе желание его обнять. «Вот, — протянул он клочок бумаги с интернет-адресом, — заходите, если станет тоскливо».

Это был адрес группы.

Олег Держикрач уже не был ее администратором. После истории с Раскольниковым, когда группа показала себя во всей красе, курировать ее у него уже не было ни желания, ни сил. Поколебавшись, он остановил выбор на Степаниде Пчель, которой передал свои полномочия.

ТРИ СЕСТРЫ

Их было две — Зинаида и Степанида. Аделаида была интернетовским клоном. Хотя тоже носила фамилию Пчель. К ее услугам прибегали, когда хотели осадить какого-нибудь ретивого комментатора.

«Мой юный друг, — начинала тогда Степанида Пчель тоном школьной учительницы, — алфавит вы знаете, но писать вам пока рановато».

«Алфавит? — тут же подключалась Зинаида Пчель. — Да он букварь на самокрутки пустил!»

«А про дурку рассказывал? — добивала Аделаида. — Или только про тюрьму?»

Жизнь в провинции, как трамвай, катится по раз и навсегда проложенным рельсам. К своим тридцати сестры успели сходить замуж, разойтись и завести на двоих одного ребенка. Рожала Степанида, а воспитывала Зинаида. «Тетя Зина хорошая, — шепелявила девочка, с годами все меньше похожая на мать. — А ты кукушка». Степанида не обижалась, а объектов для ревности ей хватало и без сестры. Она была нервной, сухой, с высоким пучком волос на голове, и мужчины, проведя с ней ночь, годами обходили ее стороной. «Ну что ты, что ты, — обнимала сестру полнокровная Зинаида, уложив ребенка. — Он оказался мерзавец, зачем же он нужен? Вот увидишь, все еще наладится». Но обе знали, что налаживаться нечему. Вечерами сестры пили чай, играли в «подкидного», а ближе к ночи залезали в интернет. Бессобытийная жизнь ожесточила их сердца, а скука сделала из них злобных троллей. При этом Степанида, которая втайне надеялась подцепить мужчину, перетащив его из виртуального пространства в реальное, еще сдерживалась, а Зинаида, слетая с тормозов, троллила всех подряд.

«Ой, ты мой маленький, — сюсюкала она с Иннокентием Скородумом, так же как с ребенком Степаниды. — Сколько книжек написал — скоро и читать научишься!»

«Убивец! — хохмила она над Раскольниковым, представляя его таким же клоном, как Аделаида. — Занимаешься какими-то авелями, а в округе столько старух!»

«И язык у него бандитский, — била она с двух рук, привлекая Аделаиду. — Помню, в дождь встал ко мне под зонтик и спрашивает: “Сколько возьмешь за «крышу»?”»

Не щадила Зинаида и женщин, считая всех феминистками за одно появление в интернете.

«Мужика тебе надо, — подначивала она Даму с @. — А то со своей собачкой сама сукой станешь».

В группе с Зинаидой Пчель не связывались, а Олег Держикрач, будучи еще администратором, смотрел на ее выходки сквозь пальцы. Ему было не до Зинаиды Пчель. После самоубийства преподавателя философии он решил уйти из больницы, и в его заявлении было всего три слова: «Больше не могу». Однако его не отпустили, уговорив взять отпуск.

— Куда мы без вас, — похлопал его по плечу главврач. — Я был бы плохим администратором, подписав заявление.

— Поймите, даже у металлов накапливается усталость.

— Вот и отдохните, вы же знаете, в нашей профессии это бывает. А через месяц легче станет. Договорились?

Проклиная свою безвольность, Олег Держикрач кивнул.

Отпуск он проводил, закрывшись в кабинете и перечитывая книги, вдохновлявшие его когда-то на решительные поступки, заставлявшие жить так, а не иначе. Но теперь они казались ему сборниками пустых сентенций.

— Давай уедем, — за ужином говорила ему жена. — Купим домик на морском берегу, ты будешь сидеть в шезлонге, смотреть, как ветер, поднимая песок, ввинчивает его в пляж. Там будет светло, весной зацветет миндаль, и не будет никаких темных аллей.

— Давай, — соглашался Олег Держикрач.

Но оба знали, что никуда не поедут, что город, как гиена, не выпускает добычи, отправляя на окраину с разросшимся кладбищем. Им оставалось бродить по улицам, разгадывая кроссворд, где по вертикали нависали мрачные многоэтажки, а по горизонтали светились окна, и стараться прочитать свою судьбу. Охладев к интернету, Олег Держикрач пожалел, что сделал администратором Степаниду Пчель. Возможно, жена увлеклась бы «групповой терапией», как он назвал свою затею, начав переписку от его имени? У скуки двадцать четыре головы, к тому же, как у гидры, ежесуточно вырастают новые, и Олег Держикрач нет-нет да и появлялся в группе.

«У вас ярко выраженный невроз, — поставил он заочный диагноз Зинаиде Пчель. — Попробуйте стать добрее. Берите пример с однофамилицы».

«Сестры, — уточнила Зинаида. — Постараюсь».

И завела Аделаиду.

Сколько себя помнила, Зинаида Пчель работала школьной учительницей. «Словесность — разборчивая невеста, — начинала она свой первый урок. — Она уступает только достойнейшим». Ученики кивали, склонившись над тетрадями, так что казалось, будто они скребут парты носом, но сама учительница давно не верила в свои слова. «Жизнь проще книг, — думала она, навалившись на стол грудью, от которой распахивался халат, и черкая красным карандашом тетради с домашними сочинениями. — Жизнь проще, потому что ее автор мудрее». С классом Зинаида легко находила общий язык, но не встречала понимания.

— Все живут врозь, у каждого свой городок в табакерке, — диктовала она, гадая про себя, хорошо это или плохо.

— Табачок, — поправляли ее. — В табакерке у каждого свой табачок.

Ее лицо принимало виноватое выражение, она тут же соглашалась, отмечая, что надежды на понимание школьниками ее аллюзий лежат в области ее иллюзий.

Зинаида Пчель слыла синим чулком, у нее не было любимчиков, так что «двойки» сыпались дождем на всех без исключения. «Эй, там, на камчатке! — поднимала она из-за дальней парты. — Дневник на стол! И быстрее, вы что, русский язык не понимаете?» Поправляя у классной доски строгую клетчатую юбку, Зинаида Пчель с серьезным видом выводила мелом фамилии известных писателей, недоумевая про себя, почему в ее список попали те, а не другие. «Игра в классики», — писала она очередное имя, а на выпускном балу раскрывала закон жизни:

— Главное, идти в ногу со временем, не спотыкаясь о вечные вопросы.

— А что такое вечные вопросы? — спрашивали ее выпускники.

— То, что мы проходили, — вздыхала Зинаида Пчель и думала, что учила их правильно, что у них теперь есть шанс занять место под солнцем, раз они так и не научились понимать русский язык.

Долгими зимними вечерами, когда сиреневый сумрак плыл в низкое окно, Зинаида Пчель сочиняла рассказы. Это было ее тайным увлечением, о котором не знала даже сестра. Раз в месяц Зинаида, аккуратно запечатав, отправляла с почты большой конверт, на котором выводила адрес редакции — каждый раз новой. И на ту же почту конверт каждый раз возвращался нераспечатанным. По дороге домой Зинаида разрывала его в клочья и выбрасывала в зиявший за пригорком овраг — подальше от глаз сестры. Получив отказ, она не плакала, только крепче сжимала кулаки, а ее губ было не разжать. О своем рассказе она сразу забывала, будто его никогда и не существовало, а дома тотчас приступала к новому, замысел которого созревал у нее по дороге. Писала Зинаида быстро, презирая черновики, сразу набело, и, прежде чем лечь в постель, успевала поставить точку. Разглаживая складки, она тщательно стелила простынь, взбивала подушку и засыпала в счастливом удовлетворении, будто занималась любовью.

Ее сестра, Степанида Пчель, по утрам просыпалась с нездоровым румянцем, который не сходил с лица весь день. Поставив на плиту кастрюлю с парой яиц, она шла в ванну, пудрилась там, пока не выкипала вся вода — тогда, выключив газ, она, застегиваясь на ходу, выскакивала на работу, не забывая сунуть в карман пудреницу. Степанида Пчель была мелким чиновником. Делать карьеру ей было поздно, да и глупо, как она считала, тратить оставшуюся жизнь ни на что. Работала она мало, старательно избегая просителей, которые вызывали у нее головную боль. Городок маленький — две улочки, убегавшие от площади с носовой платок, — и днем Степаниду Пчель часто видели в магазине одежды, где она долго выбирала платья, но, перемерив весь гардероб, так ничего и не покупала. «Ничего страшного, — оправдывала она свое отсутствие на работе, — все идет своим чередом и разрешается само собой, хоть бы меня и не было». Степанида Пчель была глубоко убеждена, что если распустить правительство, жизнь останется прежней, нисколько не поменявшись ни к лучшему, ни к худшему. Во взятках она не видела ничего дурного, однако разделяла тех, кто дают, и тех, кто берут. «Дают сильные, берут слабые, — говорила она. — Давать — значит покупать, брать — значит продаваться». При этом Степанида Пчель и сама брала бы взятки хоть борзыми щенками, но ей не давали. На работе она перебирала бумажки, перекладывая их в строгой последовательности — из почтового ящика, куда приходили письма от населения, она относила их к начальству, через небольшой срок приносила к себе в кабинет, положив в папку справа, потом они постепенно перемещались налево, ближе к мусорному ведру, куда рано или поздно попадали. Заведенный порядок был незыблем, как ночь, и Степанида гордилась своей методичностью. О чиновниках она была невысокого мнения. «Отбери у нас кресло, и что останется? — говорила она, закрывшись одна в кабинете и вертясь перед зеркалом. — А человека незаурядного и в бане разглядишь».

Развлечений в городе было кот наплакал — крестины, похороны, пожар, и календарь в нем не наполнялся событиями, делая дни неразличимыми, похожими, как галки. «Хоть бы сгорело, — умирая от скуки, косились местные на здание, в котором работала Степанида. — Или крышу ураганом снесло». Десятилетиями в городке ничего не происходило, и, чтобы не сойти с ума, жители, за неимением лучшего, привязывали свою жизнь к временам года. Ритмы их организма подстраивались под перемену погоды — зимой они ползали, как сонные мухи, зато летом колотились о жизнь, как о стекло. Из-за этой зависимости движение на дорогах с холодами замирало, и только одинокий трамвай, бесстрашно громыхая по рельсам, пробивался от одной заснеженной остановки к другой, блуждая в сугробах, которые весной превращали его в корабль. Из всех чувств у горожан преобладала зависть. Они завидовали тому, кто купил гараж, и тому, кто, продав, получил за него деньги, тому, кто женился, и тому, кто развелся, бездетные завидовали многодетным, многодетные — одиноким, те, у кого к дождю ломили кости, — тем, у кого на морозе слезились глаза, и все вместе — тем, кто уехал.

Степанида Пчель была натура противоречивая. Она ненавидела мужчин, но готова была у каждого повиснуть на шее, бросала курить, но на всякий случай держала в пудренице окурки. Ей уже не верилось, что новый день принесет что-то необычное и радостное, однако к вечеру, когда этого не случалось, она расстраивалась до слез. «Ну, вот опять», — точно девочка, кусала она тонкие губы, и в этом «ну, вот опять» проступала обида за еще один бесцельно прожитый день. Разобрав постель, Степанида долго не ложилась, ей не хотелось так бездарно заканчивать день, оттягивая сон, она втайне надеялась, что оставшиеся минуты принесут что-то необыкновенное, и засыпала лишь сломленная усталостью и разочарованием. Получив в распоряжение группу, Степанида Пчель сразу выпустила из поля зрения женскую половину, сосредоточившись на мужской, где первым ее внимание привлек Сидор Куляш.

«Сознание определяется сегодня не бытием, а информационным полем, — пел он свою старую песнь. — Мы переживаем эпоху, когда сознание отражает небытие».

«Сознание отражает небытие, — спотыкалась Степанида Пчель, видя здесь глубокий смысл. — Сознание отражает небытие». Степанида перечитывала фразу до тех пор, пока не начинали слезиться глаза, и она уже не могла понять, кто кого отражает: сознание небытие, или небытие — сознание. «Надо спросить у Зинаиды», — сначала решила она, но потом передумала — это значило бы обнаружить невежество, а главное — выдать свой интерес к мужчине.

— Мало тебя за нос водили? — говорила ей сестра за вечерним «дураком». — Пора бы уж поумнеть.

— Как ты?

— А что у меня плохого? — подкидывала Зинаида червового короля. — Принимай, если не можешь побить. Вот так с мужиками и надо!

Степанида смотрела на ее выцветшие глаза, осунувшееся лицо и безуспешно вспоминала, когда в последний раз у Зинаиды был мужчина.

— А твой директор? — наконец вспомнила она.

— Что директор? — вспыхнула сестра. — И почему мой, у него жена.

Директором ее школы был сухощавый, подтянутый москвич, покоривший ее сердце сразу после перевода в провинцию. Он писал плохие стихи, которые читал нараспев высоким заунывным голосом, далеко отставив ладони, и которые от этого становились еще хуже. Но любовь превращала их в божественные сонеты, и Зинаида Пчель восторженно аплодировала, когда после уроков они запирались в директорском кабинете. А потом они занимались любовью на столе посреди тетрадей с чернильными кляксами и классных журналов, так что на спине у нее отпечатывались отметки, по которым можно было проследить успеваемость ее учеников. Об их романе знал весь город, Зинаида Пчель ради директора бросила мужа, а он ради нее сделал предложение другой.

— У меня же несносный характер, — мял он в руках шляпу с высокой тульей, когда Зинаида однажды вечером пришла в его кабинет. — А тебя я слишком люблю, чтобы мучить, пусть лучше другая терпит.

Зинаиде хотелось разрыдаться, но вместо этого она расхохоталась:

— Не надо будет смывать чернила под душем.

Развернувшись на каблуках, она гордо выпрямила спину и хлопнула дверью, по которой сползла с другой стороны. С тех пор ее отношения с мужчинами прервались. Она перевела их в виртуальную плоскость, вполне удовлетворяясь тем, что поддевала их в группе. «Это тоже секс», — сказал бы Олег Держикрач, знай он всю подноготную. «Как и твоя психиатрия», — отрезала бы она, довольная, что ей палец в рот не клади.

Сидор Куляш настолько поразил воображение Степаниды Пчель, что стал являться во снах — как она решила, из того самого небытия, которое определяет сознание. Он был любезен, учтив и говорил на языке, которого она не знала. «Ну и что, — просыпаясь, думала Степанида. — Соловья тоже не понимают, а слушают». Остальные мужчины в группе ее волновали меньше, Иннокентий Скородум казался ей слишком надменным, а Олег Держикрач чересчур заумным. Несмотря на гневные посты, которые она писала скорее от воспитания, чем от сердца, Раскольников, с его историей несостоявшегося убийства, оставил Степаниду равнодушной, а больше всех ей не нравился Модест Одинаров, напоминавший ее бывшего мужа. «Такой же эгоист, — думала она, читая его сообщения. — Кроме ребенка ничего не сделает, и то как одолжение». Муж жил на соседней улице, будто на чужой планете. Женившись на Степаниде, он завидовал холостякам, провожая их взглядом, когда катил перед собой детскую коляску, а после развода стал завидовать аистам, вившим гнездо у него на крыше: «Вот бы и нам так — встретились, разлетелись, а не полжизни над птенцами трястись». Сначала он платил Степаниде алименты, раз в месяц торопливо выкладывая на комод смятые купюры, но, потеряв работу, совершенно исчез из виду, целыми днями просиживая с бутылкой.

— Это хорошо, — утешала Степаниду сестра, — дочь его скоро забудет.

Зинаида утопала в кресле, держа на коленях шерстяной клубок, и вязала на острых спицах, тень от которых шевелилась в углу.

— Хорошо, — эхом отзывалась Степанида. — Играть будем?

Отложив вязанье, Зинаида поднималась, роняя клубок под ноги, и его тотчас начинал катать полосатый котенок с испуганно выгнутой спиной, так что вскоре весь пол покрывался нитками.

— Ну, сдавай, сегодня твоя очередь.

Сестры были погодками. В детстве их часто путали, но с возрастом в отличие от старшей Зинаиды, жгучей брюнетки, Степанида стала крашеной блондинкой. В парикмахерской она смотрела в зеркало на свой затылок с ранней сединой, как оползень, спускавшейся к шее, и у нее из головы не выходил Сидор Куляш. Она гадала, чем его можно заинтересовать, и однажды, зайдя в группу, написала: «Вы правы, небытие отражает сознание». С юмором у Сидора Куляша было хорошо. А с личной жизнью плохо. «Вы меня интригуете, — отстучал он ей в чат. — По-вашему, виртуальное общение — как разговор покойников?» — «А что вы про меня знаете?» — кокетливо ответила она. «Больше, чем про жену, — чуть не брякнул Сидор Куляш. — И вижусь столько же». Но вместо этого отбил: «Так расскажите, вы откуда?» — «О, я живу далеко от столицы». Профессия обязывала Сидора быть не только острым на язык, но и легким на подъем. «Нам как раз требуется репортаж из провинции, — зацепился он за первое, что пришло в голову. — Встретите?» Степанида Пчель растерялась. Она мечтала завязать знакомство, но не ожидала, что оно может состояться так скоро. К тому же она боялась разочарований, устав быть отвергнутой, и потому приняла половинчатое решение. «Хорошо», — сообщила она свой адрес, но выслала фото Зинаиды. — Приезжайте когда хотите, только не опаздывайте».

Целый день Степанида ходила счастливая, отправив в мусорное ведро больше, чем обычно, бумаг и приняв меньше посетителей. Солнце заливало ее кабинет, нагревая стены с акварелями, блестело на застекленных грамотах, полученных за хорошую службу, Степанида смотрела в окно на проводивших жизнь в воздухе короткохвостых стрижей — сесть для них означало погибнуть, стуча о землю длинными крыльями в неуклюжей попытке взлететь, — и чувствовала себя свободной, как птица. То и дело поправляя в зеркале высокий пучок, Степанида мурлыкала любовные песенки и размышляла, как лучше рассказать сестре о новом ухажере. Вначале она хотела выложить все как есть, но подумала, что сестра станет ее отговаривать или, чего доброго, еще приревнует, и тогда решила подпустить тумана.

— А знаешь, Зи, — как бы невзначай обронила она вечером, — к нам едет

РЕВИЗОР

Они уже уложили ребенка и сидели за столом, стащив с него клеенку, скрывавшую зеленое сукно.

— Из Москвы? — тасуя колоду, безучастно спросила Зинаида.

— Из Москвы.

Зинаида коротко зевнула.

— Ну, тогда пока доедет. А может, и вовсе не доедет.

Подвинув на середину настольную лампу, она сдала карты.

— Россия не миска щей, — согласилась Степанида, нервно раскладывая карты по старшинству. — А где она, Москва-то?

— Там, — неопределенно махнула рукой Зинаида. — Ходить будешь?

Степанида выложила шестерку пик.

— А все же интересно — Москва-а… — мечтательно протянула она. — Думаешь, она как в телевизоре?

— Нет, глупая, больше, — отбилась Зинаида валетом. — И не такая красивая. В телевизоре все лучше. Бито?

— Еще нет, — подложила Степанида трефовую шестерку. — А все же хоть бы одним глазком глянуть…

— Да пропади она пропадом, Москва-то! — Сестра прихлопнула шестерку тузом. — Сдалась она тебе.

— Ну, хоть помечтать, — перевернула взятки Степанида. — А давай соберем чемоданы, будто путешествуем.

— Куда? — уткнулась в карты Зинаида.

— Ну в Москву.

— На вокзал, что ли, приедем?

— А хоть бы и так. Заодно и ревизора встретим.

Зинаида посмотрела поверх карт.

— А как же мы его узнаем?

— Давай погадаем.

Смешав карты, Зинаида пнула лезшего под ноги котенка и достала из ящика другую колоду — та, которой раз играли, правду не откроет.

— А он не красавец, — вытащила она бубнового короля. — И у него разбитое сердце.

— Таких полвокзала будет, — вздохнула Степанида. — Гадай еще.

— А ждет его брюнетка, — перевернула Зинаида рубашкой вверх пиковую даму.

— Подожди, подожди, — схватила ее за руку сестра, чуть не уронив настольную лампу, — у тебя же была червовая!

— Что я, по-твоему, из рукава вытащила? Очень надо! Гадай сама.

Зинаида надулась.

— Ну Зи, — обняла ее Степанида. — Не обижайся на дурынду-сестру, куда я без тебя… Поедем на вокзал?

— Сейчас, что ли?

— Нет, я тебе скажу.

Зинаида на мгновенье задумалась.

— Ладно, уговорила. Доигрывать будем?

— Будем. Только ребенка гляну. А кто ходит?

— Кто спрашивает.

Они засиделись допоздна, разделенные настольной лампой, а притворявшийся спящим ребенок смотрел, как по стенам снуют прямоугольные тени от карт.

— Тебе шулеров в поездах обыгрывать, — потянувшись, наконец поднялась Зинаида. — Хоть бы раз поддалась для разнообразия.

— Я бы с удовольствием, но ты же знаешь, я не умею врать.

— Ладно, научу, — убрала колоду Зинаида. — Я как-никак старшая.

Прошла неделя, наполненная мечтами и надеждами, которые разбавлял страх. У Степаниды с языка не сходила Москва. Она уже не понимала, как могла прожить без нее столько лет. Она уверяла Зинаиду, что ради поездки возьмет за свой счет отпуск и договорится с соседями присмотреть за ребенком. «Вот чумовая, — думала Зинаида. — Ей приспичило, а мне тащись». Но сестра была одна, и, потакая ее капризу, она послушно укладывала вещи в дорогу.

Сидор Куляш проснулся в приподнятом настроении. До прибытия поезда оставался еще час, и он, собрав очередь в туалет, тщательно умылся, прилизав седевшие на висках волосы. В купе он снял с вешалки накрахмаленную сорочку, надев ее, повязал яркий галстук и, заглянув в зеркало, остался доволен. Поезд приехал ранним утром, едва солнце лизнуло циферблат вокзальных часов. Когда встречавшие схлынули, на перроне замаячила одинокая фигура в твидовом пиджаке и клетчатой юбке-шотландке.

— Степанида?

— Я — Зинаида. А вы…

Она узнала Сидора Куляша. Последовала немая сцена. Зинаида зарделась, так что стала напоминать вишневый сад, а Сидор Куляш застыл с открытым ртом, словно собираясь что-то сказать. Но вместо этого он опустил на колесики чемодан и прикрыл рот ладонью.

В душную летнюю ночь перед приездом Сидора Куляша, когда бессонница вставляла спички, не дававшие сомкнуть глаз, Степанида Пчель, у которой сдали нервы, своими руками разрушила свое счастье.

— Зи, — разбудила она сестру. — Я заболела, а утром приезжает ревизор. Встретишь?

— А как же наше путешествие? — спросонья спросила Зинаида. — Я уже собрала чемоданы. А сколько сейчас?

— Уже светает.

— Пора вставать? Когда прибывает его поезд?

— Тебе только-только накраситься.

— А тебе — поправиться? — хмыкнула Зинаида, и Степанида поняла, что от нее не укрылось ее притворство.

— Ну Зи, у тебя же все равно в школе каникулы, — плаксиво протянула она. — У меня же больше никого нет, выручай, сестренка.

Зинаида молча открыла скрипучий шкаф, перебирая руками, спросонья осмотрела свой побитый молью гардероб, потом снова закрыла.

— Слушай, модница, раз это надо тебе, дай что-нибудь из своих тряпок.

— Конечно, Зи, бери, что хочешь.

«Боже, какая я трусиха! — проводив сестру, подумала Степанида. — Ну ничего, Зи справится, а там посмотрим».

Была суббота, выходной, сев за компьютер, Степанида Пчель отпускала колкости нелюбимому ей Модэсту Одинарову, который к этому времени уже умер, и не подозревала, что переписывается с женщиной, известной ей как Ульяна Гроховец.

«Информационное поле? — написала Сидору Куляшу Полина Траговец от имени Модэста Одинарова. — Конечно, сегодня сознание отражает небытие. Ведь вы посадили всех на телевизионную иглу!»

«Столько сидишь у телевизора, что тебя уже узнают дикторы? — заступилась за Сидора Куляша Степанида. — А засыпаешь небось с пультом, как наркоман со шприцем?»

Полине Траговец тоже не нужно было идти на работу, и она тоже была в Сети.

«Ну не всем же сутками торчать в интернете, — через минуту отозвался Модэст Одинаров. — Я же не старая дева, чтобы мужчин на сайтах цеплять».

Степанида посчитала недостойным переходить на личности. И тут же завела клон «Злой язык».

«Ты старый одинокий кобель, — хлестнула она им. — До хрена умный? Корми голубей и не приставай к дамам».

Полина Траговец не осталась в долгу, и две одинокие стареющие женщины пикировались весь день под чужими именами, пока Сидор Куляш гулял с Зинаидой Пчель. За собой он тащил, как собачонку, чемодан на колесиках, которые, поскрипывая, оставляли след на пыльной мостовой. Над рекой в камышах носились стрекозы, в сухой пожелтевшей траве надрывно стрекотали кузнечики, и небо едва вмещало огромное солнце. Бросая с моста хлебные мякиши, которые отщипывали от одного батона, Сидор и Зинаида кормили крикливых чаек. Обедали в кафе на пристани, где пианистка в накладном шиньоне, с короткими, как у карлы, руками лениво играла джаз, и, рассказывая о своей жизни, громко смеялись, так что на них косились официанты. Блюда переменяли медленно, и Сидор невольно вспомнил жену, которая до того, как стала невидимкой, готовила обеды с такой тщательностью и старанием, что ставила их на стол раз в три дня. Усмехнувшись воспоминанию, Сидор закрутил на столе вилку.

Зинаида сощурилась:

— Хотите сыграть на раздевание?

— В определенном смысле. На кого укажут зубцы, тот обнажает неприятную для себя правду. Идет?

Зинаида кивнула. Вилка застыла, указав на Сидора.

— С детства был везучим, — вздохнул он и рассказал про ракушек, которых собирал на морском берегу, копошась, как краб, в месиве из тины и гниющих моллюсков, пока мать, усевшись по-турецки на полотенце, загорала с любовником, про отца, смеявшегося над его неуклюжими попытками освоить горные лыжи, про то, как разрывался между разведенными родителями, как паром между берегами.

— А по-моему, у вас было счастливое детство, — сказала Зинаида, когда он замолчал. — Разве это воспоминание так уж неприятно?

— Детство у всех счастливое, оно у всех лучшая пора. Потому что дальше — хуже. Крутить?

— Нет. Раз дальше — хуже, значит и скелетов в шкафу больше. Мы договаривались поднять со дна всю горечь, так что ваш рассказ не засчитывается.

— Хорошо.

Сидор достал сигареты, закурил и без утайки выложил про жену-невидимку.

— Это я и так знаю, — вставила Зинаида, когда он сделал паузу, расплющив окурок в пепельнице. — Читала на сайте.

— А про измену? С моим начальником? — Сидор потянулся за новой сигаретой. — На корпоративной вечеринке, куда пришли с женами. Гадко вышло, пошло…

— Я поняла, подробности не обязательны. — Зинаида на мгновенье задумалась, кусая заусенец. — А вы отомстили?

— Кому? Ей? Или начальнику? Нужно было переспать с его секретаршей?

— Вроде того. Чтобы было не так обидно.

— Уравнять счет? Но семейная жизнь — не футбол, тут 1:1 бесконечно хуже, чем 0:0. А каждый гол забиваешь в свои ворота. Вращать?

Зинаида накрыла его руку ладонью:

— Не надо. Теперь моя очередь.

Уткнувшись в тарелку, она рассказала про раннее замужество, жизнь без любви, про свой роман с директором школы, про то, как коротает за тетрадями свой бабий век.

— Жизнь прекрасна, — закончила она, ковыряя вилкой овощной салат. — Только люди портят ее друг другу.

— Мы рождены для рая, а живем в аду, — вздохнул он — А где у вас гостиница?

— Недалеко, я покажу.

Дорога в два квартала заняла полдня, они то и дело останавливались, Зинаида садилась на чемодан Сидора, а он, возвышаясь над ней, говорил, говорил, говорил… И в его речи не было ни слова о работе. Мимо плыли прохожие, а номера на домах сменялись с частотой тысячелетий. Зинаида не узнавала родной город, ей казалось, что она в сказочном путешествии.

— Торопятся те, кто ищут, — прочитал ее мысли Сидор Куляш. — А мы ведь нашли?

Зинаида смущенно кивнула.

— Зайдите вечером, — обнадежили их в переполненной гостинице. — Возможно, номера освободятся.

На Зинаиде не было лица:

— Что же вы теперь, уедете?

— Ну, еще не все потеряно. До вечера есть время.

Зинаида проглотила слюну.

— Поймите, я бы вас пригласила, но у меня сестра с ребенком…

— Ну что вы, об этом не может быть и речи. А у вас бледный вид.

— Похоже, у реки немного простудилась.

И опять они шли, взявшись за руки, вдоль извилистой набережной, и опять Зинаида слушала Сидора, не замечая его неуклюжей, расплывшейся фигуры, похожей на знак доллара. Ветер трепал ее темные волосы, и она снова чувствовала себя студенткой, увлеченной лектором. «Встретила ревизора?» — прислала ей эсэмэску Степанида. «Встретила нечто большее» — ответила она. Степанида была заинтригована. Она тотчас оставила бесполезную грызню в интернете с Модэстом Одинаровым и, нацепив черные очки, отправилась на розыски сестры.

— И род приходит, и род уходит, — изрекал Сидор Куляш, в очередной раз опустив на землю чемодан. — Мы вылезаем из пеленок, ходим в школу, учимся там всему понемногу, влюбляемся, создаем семью, заводим детей, которых норовим подбросить родителям, стираем их сопливые пеленки, водим их в школу, где они учатся чему-нибудь и как-нибудь, смотрим, как они влюбляются, заводят детей, которых норовят нам подбросить, и весь смысл этой суеты в том, чтобы не останавливаться и не задумываться: а в чем смысл всей этой суеты?

— Быть может, в мгновеньях счастья, — запрокинув голову, сказала с чемодана Зинаида.

Сидор Куляш осторожно поднял ее двумя пальцами за подбородок и поцеловал. Их обтекали прохожие, Зинаида стояла на цыпочках и обнимала Сидора, как жены после войны обнимают на вокзале мужей.

Эту сцену, спустив на нос очки, издалека наблюдала Степанида Пчель. Ахнув, она схватилась за сердце, потом ее рука скользнула в карман за пудреницей с мятым окурком, который красным сигналом SOS повис на губах. Сидор Куляш с ее сестрой уже исчезли за поворотом, а Степанида все стояла и курила, не замечая, что обжигает губы, вспоминала прошедшую жизнь и думала, что спела свою песнь, не зная слов. Ветер относил дым все дальше — мимо пыльной витрины булочной, улыбавшихся прохожих, протыкавших его своими носами, вниз к набегавшей волнами реке, где он исчезал, растворяясь в лиловом поднимавшемся мареве, и, глядя на него, Степанида остро осознала, что ей осталось лишь менять крашеные парики, искать утешения в вине и танцевать вальс в обнимку с собственной тенью, напевая вздорные слова собственного сочинения.

Время пролетело быстро, Сидор Куляш держал в голове совет подойти в гостиницу вечером, но им не воспользовался. Вечером он стоял в очереди, покупая билет на поезд.

— Один до Москвы? — подняла голову кассирша.

Сидор взглянул на Зинаиду.

— Давайте два, — решительно сказал он. Отойдя с билетами от кассы, взял Зинаиду под руку: — Я угадал?

Зинаида зарделась и чихнула. А через час поезд, глотая шпалы, отстукивал: «В Москву! В Москву! В Москву!».

Так Степанида Пчель, разрушив свое счастье, создала чужое. Сняв в прихожей очки, она долго смотрела в зеркало и видела в нем изможденную женщину, обреченную до конца дней на городские сплетни, интернет-троллинг и вечерний пасьянс. Потом она достала губную помаду и подписала под своим отражением на стекле: «У нее все было в прошлом, в котором ничего не было». Махнув рукой, Степанида прошла в комнату, склонилась к спящей дочери, на ангельском лице которой еще не проступили заботы, и неожиданно для себя тихо рассмеялась.

Был поздний вечер, но жара, измучившая всех в это зное лето, еще не спала. За окном чернели кусты смородины, двускатную крышу тихо скребли яблоневые ветки, которым на чердаке отвечали мыши. Зинаида Пчель отложила лист бумаги и, достав из ящика пепельницу, закурила. Уже месяц ее бил по утрам кашель, и, сокращая ежедневное количество сигарет, она дала себе слово курить, только закончив новый рассказ. Зинаида была нервной, рано увядшей учительницей русского языка и хваталась за сочинительство, как за соломинку в море одиночества. Лучшие годы Зинаида провела в забытом богом провинциальном захолустье, откуда в молодости выезжала только на учебу в университет, у нее никогда не было мужа, не было сестры с ребенком, не было романа с директором школы, она чахла от тоски и в интернет-группе присутствовала еще в двух образах: Степаниды и Аделаиды.

Докурив, Зинаида затушила сигарету в почерневшей пепельнице, перечитала рассказ и чуть не расплакалась. Он назывался:

«ТРИ СЕСТРЫ».

БЕСЫ

Текучка в интернет-группах — явление обычное, и сообщество, основанное Олегом Держикрачем, не составляло исключения. Бывало, в него заскакивали, чтобы оставить один-два поста, на которые старожилы не обращали внимания, но случалось, что новички надолго в нем задерживались.

«Жирные коты, — оставил сообщение некто Афанасий Голохват, не соблюдая знаков препинания. — Да да нами правят жирные коты». Аватарой у него была гильотина, и это было его первое появление в группе.

«И они давно не ловят мышей», — поддержала его Зинаида Пчель.

Аделаида тут же оставила смайлик.

«Крысы, — уточнил Иннокентий Скородум. — Наверху сидят крысы».

Афанасий Голохват был молод, носил потертые джинсы и, разговаривая, не вынимал наушники. От его худощавой, чуть сгорбленной фигуры веяло романтизмом. «Так жить нельзя, — думал он, возвращаясь он с квартиры, где обсуждали судьбу страны. — Довольно быть эмигрантами в собственном доме!» Подобные смелые разговоры опьяняли, после них делалось весело, как в детстве, когда Афанасий прогуливал уроки. «Революция, революция», — повторял он, шагая по бульвару, на котором Модест Одинаров когда-то кормил голубей. В квартире, откуда он вышел, было накурено, разило горьким мужским потом, красным вином, опрокинутым на скатерть с засохшими в вазе гвоздиками, а запахи, собранные со всего города, были настолько густые, что, казалось, не давали доступа воздуху из распахнутых настежь форточек. Но этого никто не замечал. Горячие головы обсуждали, что будут делать, когда придут к власти, не сомневаясь, что сгнивший режим обречен.

— Отцы и деды склоняли головы перед злом, — говорил ровесник Афанасия с высоким лбом и горящими глазами. — Они приспосабливались, пресмыкались но мы не собираемся терпеть!

Ему бурно рукоплескали.

— Нас вынуждают быть негодяями, говоря, что так устроен мир, — поднимался другой, с пышной шевелюрой. — К черту такой мир! Кто будет о нем сожалеть? Только законченные мерзавцы могут его оправдывать! Мой отец — банкир перевел мне на совершеннолетие миллион. Думал меня подкупить, думал, я стану таким же кровососом. Но он ошибся — я отрекаюсь от его грязных делишек и жертвую деньги на революцию!

Тряхнув волосами, он достал из кармана пластиковую карточку и швырнул на стол. Его жест был встречен аплодисментами.

— Товарищи, — поднялся мужчина постарше, — режим на последнем издыхании, его остается слегка подтолкнуть. Нам нужно оружие и документы для тех, за кем охотится полиция. Миллион — хорошо, но мало. Наша касса пуста, прошу делать взносы.

На стол полетели кредитки, часы и обручальные кольца. Вытряхнув все, что было, Афанасий Голохват также внес свою лепту, и теперь ему казалось, будто прохожие заговорщически ему улыбаются. Мир для Афанасия Голохвата делился на единомышленников и врагов, и он был уверен, что на дальней лавочке негодующе размахивают кулаками, потому что обсуждают правительство. Стоял погожий летний день, в кустах чирикали воробьи. Афанасию представлялась революция. «Это носится в воздухе», — вспоминал он речи, которые слышал в квартире, и его лицо обретало страстное выражение. В группу Афанасий Голохват попал случайно, прочитав историю Раскольникова. Самого Раскольникова на сайте уже не было, остались только следы его пребывания в виде мертвых постов, и Афанасий Голохват жалел, что опоздал, иначе бы он поддержал киллера. Много раз, возвращаясь к этой истории, он думал, что Раскольников совершенно прав: стоит убрать препятствие из горстки негодяев, и жизнь наладится, а все остальное идет от лицемерия и душевной лени. Афанасий Голохват дал себе слово разогнать «шайку зажравшихся обывателей», как он называл собравшихся в группе, сбить с них буржуазную спесь. «Я не обыватель, — засунув руки в карманы, твердил он, шагая по бульвару. — Я не обыватель». Ноги принесли его в студенческое общежитие. Прыгая через ступеньки, он поднялся к себе в комнату мимо дремавшей седой вахтерши, которая видела во сне лес — она провела жизнь в большом городе, мечтая о тихой речке, осенних криках журавлей и огороде, где могла бы возиться целыми днями, сажая капусту, и теперь во сне бежала по густой пряной траве и парила над колючими, мокрыми от росы кустарниками.

Афанасий Голохват ударом с носка открыл дверь и, не раздеваясь, плюхнулся на кровать. Пошел дождь. Ровный стук крупных капель о цинковый карниз приглашал ко сну, но Афанасий Голохват лежал в сумерках с открытыми глазами, разглядывая трещины на потолке, и тихо улыбался.

Пройдет много лет, и, став отцом многочисленного семейства, Афанасий Голохват, щупая раз перед зеркалом выросший живот, с усмешкой вспомнит, как возвращался по бульвару с очередного «квартирника», вспомнит собравшихся там людей, давно ставших призраками, и отмахнется от них рукой, будто пугая кур. Повернувшись в профиль, он потрогает щетину на щеке, наполнив мыльницу, взобьет кисточкой разноцветные пузыри и, глядя, как они лопаются, вспомнит время, когда бриться, чтобы выглядеть свежим, было совсем не обязательно, опять вернется в памяти к бурным переживаниям юности, перебирая тогдашних единомышленников, которых он оставил на душной квартире со спертым воздухом, а потом вдруг осознает, что тот далекий летний день был самым счастливым в его долгой тусклой жизни. Тогда уже не будет в шкафу потертых джинсов, не будет интернет-группы, в которой можно оставить: «Для счастья нужно совсем немного — общий враг, товарищи по борьбе и уверенность в победе».

Наутро Афансий Голохват был все еще под впечатлением от «квартирника». Умываясь, он повертел пальцами длинный хрящеватый нос с острыми крыльями, состроив себе в зеркале рожу, высунул язык и со смехом бросился к компьютеру. В интернете он сначала проверил почту, пробежав глазами письмо от матери, а потом, зайдя в группу, все также без знаков препинания, которые презирал, написал: «Долой жирных котов товарищи долой жирных котов».

Первым откликнулся Иннокентий Скородум:

«Чтобы из темных щелей вылезли крысы? Революцию замышляют романтики, осуществляют прагматики, а ее плодами пользуются негодяи».

«А эту фразу повторяют обыватели, всю жизнь просидевшие в своих норах, — подключилась Зинаида Пчель. — Афанасий Голохват, меня тоже не устраивает правительство!»

«Наше правительство не хуже других, — ответил ей Иннокентий Скородум. — Или вы хотите, чтобы они честно признались: “Нам плевать на вас, мы хотим красиво жить”? Конечно, таким можно было без колебаний отдать голос на выборах. Но они держат нас за детей, которые страшатся правды. А может, так и есть? Однако с возрастом меня не покидает странное ощущение. Мы могли сидеть с ними за одной партой, дразнить вместе учителей, проказничать, я мог видеть их дурные поступки, которых в детстве никто не избежал. А теперь от этих людей зависит моя судьба. Кто они? Почему распоряжаются моей жизнью?»

Авдей Каллистратов тоже ходил на тайные собрания, слушал разговоры о революции, в которую не верил. «А хоть бы и случилась, — думал он, — все вернется на круги своя. И дело даже не в пролитой крови, а в том, что прольется она напрасно». На квартирах Авдей Каллистратов обнаруживал себя среди мальчишек, знал наперед, чем все обернется, видел, что сила вещей рано или поздно превратит их в таких же жирных котов, которые вызывают у них негодование. И все равно посещал их тайные вечери, куда его гнало одиночество. «Только росток живет, — вспоминал он китайскую мудрость. — Состоявшееся уже умерло». И, посещая «квартирники», где жизнь била ключом, Авдей Каллистратов грелся у чужого огня. Исходя из своего богатого опыта, он давал разумные советы, а про себя думал: «Разве можно обсуждать, как жить, если не знаешь зачем?». Вскоре Авдей Каллистратов стал пользовался уважением, превратившись в министра теневого кабинета, и никто не догадывался, что он таким образом скрашивает жизнь. Его прежние отношения с писателями научили Авдея Каллистратова держать язык за зубами, но в интернет-группе он разоткровенничался:

«Одно правительство стоит другого, но почему от этих людей, много худших меня, зависит моя жизнь?»

«Вы что же, анархист? — по-своему поняла Зинаида Пчель. — Как же совсем без правительства? А кто будет указы писать?»

«Да он сам метит в правители, — вмешалась Дама с @. — Какой из него анархист, просто баки нам заправляет».

И Авдей Каллистратов вспомнил, что стар, что, подбери он самые правильные, самые нужные слова, его все равно не поймут, потому что все языки бессильны выстроить мост между поколениями. «Крепкое дерево обречено на смерть, — снова вспомнил он китайцев. — Но зачем тогда мудрость? Чтобы легче умереть?»

«А что вас, собственно, не устраивает? — писал ему Сидор Куляш. — Вы свободны и можете позволить себе жить в любой стране. На выбор! Или хотите обратно в прошлое? Нравится рабство, голод?»

«Не трудитесь, — осадил он. — У меня есть телевизор».

От родителей Афанасий Голохват был очень далеко. С матерью он, правда, изредка переписывался, а с отцом после развода виделся всего раз. Они сидели в суши-баре, отложив палочки, ковыряли рыбу вилками, и их разговор был таким же острым, как еда. «У нас ничего общего, — вспоминал Афанасий Голохват их встречу. — Его ли я сын?» Он морщился, намереваясь серьезно поговорить на этот счет с матерью, но откладывал до лучших времен. А потом учеба и протестная деятельность поглотили все его мысли. После развода мать пыталась сделать мужа из Афанасия, превратившись в наседку, тряслась над каждым его шагом, под видом семейных дел обсуждая свои обиды и желания, она ревновала его к отцу, уличным мальчишкам, прогоняя которых, высовывала голову из форточки, смешно наклонив ее набок, ревновала к истории и фантастике, которых не понимала, считая прошлое такой же выдумкой, как и будущее. Вечерами она готовила с сыном уроки, отмечая каждую его ошибку подзатыльником, учила с ним грамматику, которую он с тех пор возненавидел. Ей казалось, что она любит сына, что готова отдать ему все, а он все не мог дождаться окончания школы, чтобы поступить в столичный университет. «Неблагодарный, — жаловалась она соседям. — Совсем мать забросил, а ведь я посвятила ему всю жизнь».

В отпуске, когда Олег Держикрач чуть было не ушел из больницы, у него появилось много времени. И он тоже посетил одну из квартир, где обсуждали, как переделать мир. Его позвал туда бывший пациент. Дом был на окраине, звонок дребезжал, а железную дверь долго не открывали.

— Что вам? — ощупали его колючим взглядом.

Олег Держикрач представился.

Дверь захлопнулась. Потоптавшись на лестничной площадке, Олег Держикрач уже собрался уходить, когда появился его знакомый:

— Проходите, проходите… — И пока в прихожей Олег Держикрач разматывал шарф, таинственно шептал: — Извините за неудобство, много провокаторов…

Диссиденты расположились за круглым столом. Вел заседание щуплый старик с тонкими злыми губами. Говорили по очереди и каждый о своем. Сосед Держикрача неожиданно уснул, а когда, толкнув в бок, ему предоставили слово, по-военному отчеканил: «Виноват, вторую ночь не сплю». Откашлявшись, он тронул лоб, будто настраивая радиоприемник, и произнес долгую речь, так что Олег Держикрач непроизвольно искал в его руках исчерканную бумагу. Он вспомнил свои беседы с пациентами, когда также думал о своем, и его подмывало спросить, сколько раз оратор произносил подобное и верит ли сам в то, что говорит. Но Олег Держикрач был в чужом монастыре и прикусил язык. «Все видят, как не надо жить, а как надо — никто», — про себя возражал он, согнувшись над столом, как колодезный журавль. «И чем эти люди лучше тех, кто у власти?» — оглядывал он собравшихся, подперев кулаком подбородок. Олег Держикрач вслушивался в слова, смысл которых от него ускользал, и вдруг его осенило: тут каждый говорил о себе. За обличением власти он увидел боль одиноких сердец которую годами наблюдал у себя в кабинете, и ставшая за последние месяцы привычной тоска сжала ему грудь. Он чувствовал, как его затягивает в омут, где наверчивает свои круги недовольство, где водяные от всех бед с ухмылкой подсовывают пистолет, а русалки нашептывают, что по-другому жить нельзя. «Власть, безусловно, омерзительна, — подвел он черту, снова оказавшись за железной дверью, — но профессиональный революционер — это диагноз».

В метро бывший пациент, словно подтверждая его догадку, жаловался на ужасный мир, крутил пуговицу на его плаще, ища поддержки, по-собачьи заглядывал в глаза. Но Олег Держикрач не оправдал его надежд. Он смотрел на пассажиров, уткнувшихся в газеты, и думал, что они, как дети, обманывать которых — грех. «Это ли не мошенничество? — вспомнил он признания Сидора Куляша. — Обман ребенка, что может быть гнуснее?»

«Да, да, конечно, власть отвратительна, я целиком на вашей стороне», — пожал он на прощанье холодную потную руку. И, поймав вопрошающий взгляд: — С удовольствием бы пришел еще раз, но много работы». Сойдя на своей станции, Олег Держикрач смешался с толпой, как на иголки, натыкаясь на колючие взгляды. Его окружали злые, хмурые лица, его едва не задевали локтями, так что приходилось быть все время начеку.

«Хорошо, что все умрут, — лавируя, как челнок, подумал Олег Держикрач. — Вот если бы все было по-другому, может, и жили бы вечно».

Вернувшись домой, он выкурил трубку, слушая радио, передававшее компот из сплетен, который считался последними новостями, и перебирал в памяти увиденное в городе.

«Да, нами управляют программы, — вспомнил он Никиту Мозыря. — И притом простейшие».

Он выключил радио и, сбросив шлепанцы, лег спать.

В группе от него в тот день появилось:

«Бедные мы, несчастные! О каком правильном мироустройстве можно говорить? Сколько умерло, не найдя себя? Не раскрыв талант? Не встретив любви? Нам остается только оплакивать себя. Нет слез? Займи у соседа!»

После смерти матери Полина Траговец возвращалась с работы в опустевший холодный дом. На нее давили стены с пожелтевшими сальными обоями и трещиной в углу, в которой маленькая девочка с бантиком ковыряла когда-то спичкой, разглядывая поселившихся в ней бледных муравьев, равномерно сновавших по своим маршрутам вверх-вниз, точно для них не существовало земного притяжения. От нахлынувших воспоминаний Полину душили слезы. Не в силах оставаться наедине с собой, она садилась за компьютер и, как джинна из бутылки, вызывала Ульяну Гроховец.

«Да что вы все киснете, — ободряла та, прочитав унылый пост «Олега Держикрача». — Вы просто нытики, мне бы ваши заботы! Вот я после бурной ночи с одним симпатягой из бара потащилась утром на фитнес, потом в бассейн. Думала, умру! Кстати, какую посоветуете беговую дорожку — с мягким покрытием или ту, что меняет положение, имитируя горы?»

Не дожидаясь ответа, Полина спустилась вниз по ленте, вцепившись в сообщения Афанасия Голохвата о революции.

«Прикинь, — написала ему Ульяна Гроховец, — пнешь ты жирного кота, а на его место набежит свора тощих. Оно тебе надо?»

«Что было, то и будет, — добавила Полина Траговец от Модэста Одинарова. — ИМХО — ничего нет нового под луной».

А потом садилась у окна с засыхавшими, чахлыми фикусами, смотрела на холодные, тускло мерцавшие звезды и тихо плакала, не зная,

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Выписавшись из психиатрической больницы, Никита Мозырь так и не устроился в приют для инвалидов, чтобы найти себя. Вместо этого по рекомендации Олега Держикрача он сам получил пенсию по инвалидности и свободное время посвящал интернету, прослыв там поборником социального равенства.

«Капитализм сгнил, — убежденно писал он Афанасию Голохвату. — Бессмысленно выбирать правительства, меняя шило на мыло. У нас дикий капитализм? Но разве джунгли бывают другими? Везде плохо, везде ложь! А почему? Порочен сам принцип! Капитализм сгнил, бессмысленно выбирать правительства, меняя шило на мыло. У нас дикий капитализм? Но разве джунгли бывают другими…» Как заезженная пластинка, Никита Мозырь повторял эту мысль до тех пор, пока не успокаивался.

Афанасий Голохват отвечал ему дружеским смайликом.

«С вами всерьез обсуждают, чего больше: позитива в негативе или негатива в позитиве, — проповедовал Никита Мозырь в другой раз. — Вам морочат голову, рассуждая об экономике, политике, социологии, а за глаза смеются: “Вкалывай, ослик, впереди морковка!”. Вот и вся программа!»

Читая его посты, Авдей Каллистратов грустно ухмылялся: «Социализм слишком хорош, люди его недостойны. Сейчас бедные завидуют богатым, а если всех уравнять, будут завидовать друг другу».

«Вы правы только наполовину, — написал он Никите Мозырю. — Имущественное неравенство, безусловно, влечет отчуждение, приходится смириться с ощущением того, что ты никому не нужен, а твоя жизнь, как и смерть, останется незамеченной. Однако при капитализме проще спрятаться, затеряться. Чем ближе узнаешь людей, тем дальше хочется от них быть. А при социализме куда деваться? Любой имеет право тебя учить. Вот и выбирай между бесчувственным равнодушием и постоянным давлением».

С тех пор как ушла Даша, Авдей Каллистратов сильно сдал, седина, серебрившая раньше виски, захватила теперь всю голову, и он, как болотную жижу, облепившую со всех сторон, чувствовал свое одиночество. В молодости он смотрел на жизнь снизу, как на темневший на горе лес, представлявшийся интригующе загадочным, но с годами незаметно для себя стал оглядываться на нее, как на редкую, просвечивающую насквозь рощицу, которую с вершины можно окинуть одним взглядом. Наблюдая поколение Никиты Мозыря, Авдей Каллистратов думал, что каждое время уродует по-своему, и только вечность, наложив свой макияж, сделает всех похожими. Следовательно, убеждать в своей истине, доказывать свою правоту — значит выпячивать свое уродство, превознося его над другими. Но Иннокентий Скородум жил отдельной жизнью и незаметно для Авдея Каллистратова втягивал его в спор.

«И как же все устроить? — написал он Никите Мозырю. — Или переустроить? А может, перепереустроить?»

Никита Мозырь горячился, рисовал утопии, строил воздушные замки.

«Кто?» — перебил его Иннокентий Скородум.

«Что кто?» — удивился Никита Мозырь.

«Кто будет все это осуществлять?»

«Как кто? Люди! Вы, я, Афанасий Голохват…»

«Меня увольте, — поставил точку Иннокентий Скородум, точно его наконец схватил за руку Авдей Каллистратов. — Мне бы с собой разобраться». А через минуту от него последовало добавление: «Кстати, и вам, молодой человек не советую. Оглянитесь вокруг — разве эти глухие сердца заслуживают благородных порывов?»

Авдей Каллистратов остался доволен. Ему казалось, что он не дождется возражений, ведь он в совершенстве овладел искусством выглядеть в чужих глазах убедительным вне зависимости от своей искренности, умело подбирая убийственные аргументы и, если надо, прибегая к лести, — способность, которую развило в нем его ремесло.

Но он ошибся.

«Ну конечно, из-за таких вот и имеем то, что имеем, — оставил за собой последнее слово Никита Мозырь. — Что делать? А ничего не делать, плетью обуха не перешибешь. С нашим народом что хочешь, то и делай. Он все равно ничего не сделает. — Никита повторял эту мысль на разные лады, приводя не к месту различные поговорки, а потом начал вдруг подбирать слова на “у”: — Уберите ухабы — уберете урожай! Уразумели? У? Уйма умников? Ужасно: угораздило уродиться у ущербных, убогих, ущемленных!»

Никита Мозырь, как все шизофреники, путался в словах, часто не разбирая их значения. Состоявшие из одних букв имели для него одинаковый смысл.

«Почему жизнь на земле вечна, а жизни — нет? — спрашивал он. — Может потому, что жизнь обязательна?»

«Это действительно загадка, — трунил над ним Иннокентий Скородум. — Жизнь обязательна, а жизни все равно нет».

Но Никита Мозырь не замечал иронии. Он уже шел с группой на встречных курсах: в его комментарии, в подборе им слов на «у» все увидели иронию, которой там и в помине не было. Только Олег Держикрач разглядел, что болезнь его прогрессирует. Но горячая искренность Никиты Мозыря не оставляла равнодушным.

— А, знаешь, дорогая, — говорил Олег Держикрач жене, варившей утренний кофе. — Мы ответили наконец на вопросы «что делать?» и «кто виноват?».

— И как же?

— Делать нужно деньги. А виноват тот, у кого их нет.

Жена улыбнулась:

— Другое время ответит на них по-своему.

Взяв у нее из рук чашку с кофе, Олег Держикрач обнял жену:

— Ты у меня гений. И что бы я без тебя делал…

После того как Олег Держикрач взял отпуск на неопределенное время, перед ним в полный рост встала проблема свободного времени, и он был рад, когда иллюстрированный журнал заказал ему статью. Имя посчитали достаточно известным, чтобы не ограничивать Олега Держикрача темой. «Нужно что-нибудь интересное, — расплывчато написал ему редактор, оставляя за ним выбор. — Что-нибудь из психиатрии на злобу дня». Со статьей Держикрач провозился целую неделю, пока однажды, усадив жену напротив, не прочитал черновик.

— Статья будет называться: «Психологические особенности межличностных отношений при социализме и капитализме».

— Боже, как серьезно!

Жена прикрыла рот ладонью.

— Название рабочее, так что не перебивай. — Олег Держикрач откашлялся и, встряхнув в руке топорщившиеся листки, продолжил ровным, бесстрастным голосом: — В эпоху относительного равенства и всеобщей доступности на первый план выступают черты характера, которые доминируют среди отличительных признаков при распознании индивида. Злой, добрый, мягкий, жадный, эгоистичный, коварный или простодушный — по этим характерологическим особенностям судят о человеке. Это его глубинная, эмоциональная суть, добраться до которой при царящем неравенстве просто невозможно. При четко выраженной иерархии мы имеем дело с коконом, внешней оболочкой, сотканной из банковского счета, общественного положения и забот имиджмейкеров. В нашем обществе взаимодействуют не люди-личности, а их внешние образы, в нем прячутся за ширму формального общения, оберегая от посягательства внутренний мир, которого на самом деле нет. В эпоху всеобщего отчуждения появляются женщины, для которых на мгновенье сосредоточиться — все равно, что родить, по улицам бродят подростки с клиповым мышлением, которое выдают пустые бегающие глаза…

— Дорогой, а зачем все это? — перебила его жена, тронув за руку. — Разве это интересно? Напиши лучше про любовь. У тебя ведь была первая любовь?

Олег Держикрач отложил листы на колени.

— Первая любовь? — Он потер лоб и, открыв ящик письменного стола, потянулся за сигаретой. — Была, конечно, в школе. В выпускном классе. Ты правда хочешь, чтобы я рассказал?

Жена кивнула. Поерзав, Олег Держикрач, уселся в кресле удобнее.

— Ближе к весне перевели к нам новенькую — ничего особенного, полненькая, с веснушками, но большие голубые глаза, грустно глядевшие из-под ресниц, все искупали. Теперь я думаю, что у нее было плохое зрение, а носить очки она стеснялась.

— Фу, как прозаично, в тебе умер романтик!

— Зато родился врач. — Повертев меж пальцев сигарету, Олег Держикрач закурил. — Знаешь, в каждом классе обязательно наступает пора, когда все друг в друга влюбляются. Это как ветрянка.

— У нас было то же самое. И ты втюрился?

— По уши! Внушил себе, что жить без нее не могу, что лучше и на свете нет. Ночами, как водится, рисовались ее прелести, а главным образом — огромные печальные глаза. Она была молчалива, с какой-то тихой улыбкой, которая тоже представлялась мне необыкновенной. В общем, сох я по ней ужасно! А как признаться? Я был робок, застенчив, целомудрен.

— А она?

— Ну, девочки развиваются раньше. Однако со всеми мальчиками моя была одинаково приветлива. Почему, кстати, «моя»?

— Потому что ты прирожденный собственник.

— Возможно. Но дело не в этом. Учебу я совершенно забросил. Целыми днями страдал, страдал… А вечерами стоял в обнимку с деревом под ее окнами, представлял, чем она занимается, а когда за занавеской мелькал ее силуэт, сердце готово было выпрыгнуть. Месяца два носил я в себе эту горячку, похудел, осунулся. — Олег Держикрач глубоко затянулся. — А подойти не решался. Думал, выбрать предлогом запущенные предметы, попросить помощи. Но гордость не позволила. Да и училась она средне, при этом была исполнительна, точно зная предел своих способностей…

— Почему так уничижительно? Ты что, сейчас ей мстишь?

— За что?

— Что не ответила взаимностью.

— А ты уже догадалась? — Держикрач удивленно скривился. — Вероятно, мщу, подсознательно. Но не все так просто, дослушай. Камчатку в нашем классе оккупировала троица шалопаев, которые на уроках только и делали, что обсуждали известных певцов. Тогда был особенно моден один абсолютно безголосый. И как-то слышу, она говорит: «А у меня есть его пластинка». Так мне представился шанс. На перемене, придав голосу тоску меломана, я попросил его послушать. План был бесхитростным, лицо у меня горело, и мне казалось, она видит меня насквозь своими голубыми глазами…

— Не сомневайся, у девушек на этот счет интуиция.

— Наверно, но она не подала вида, просто кивнула, и после уроков мы пошли к ней домой. — Выпустив дым, Держикрач стряхнул пепел на пол. — Ее родители были на работе, она усадила меня на диван, завела пластинку безголосого певца, а сама ушла на кухню. «Люби меня, люби смелее», — призывал певец хриплым голосом, переходя на речитатив, и я вдруг испытал прилив решительности. Она стояла у плиты, ко мне спиной, и вздрогнула, когда я тронул ее за плечи. «Ты мне очень нравишься», — развернул я ее. Она не удивилась, точно ждала чего-то подобного, и молча посмотрела мне в глаза. Я неловко ее обнял и поцеловал. Ее губы едва ответили. Как ни был я взволнован, но все же почувствовал в этом отказ.

— Похоже, ты был опытный сердцеед, зачем теперь притворяешься?

— Милая, это был мой первый поцелуй. От моей храбрости не осталось и следа. «Я тебе нравлюсь?» — смущенно прошептал я. «Нравишься», — эхом отозвалась она. Но я понял, что это ложь.

— Ты уже тогда готовился стать психиатром?

— Ну, тебе эта роль больше подходит.

— Потому что догадалась о безответной любви? Просто я слишком хорошо знаю мужа, к тому же первая любовь всегда несчастная.

— Кто знает, в чем счастье? Я тогда спросил ее: «Нравлюсь, но я не *тот*?». А она: «Нет, не *тот*». Я готов был умереть! На ватных ногах поплелся обратно в комнату. Пластинка уже кончилась, и я поставил ее заново. Потом сел на диван, обводя взглядом вещи на столе, и тут в глаза мне бросилась записная книжка в кожаном переплете. Это был ее дневник…

— Какой ты старый! В ваше время еще вели дневники.

— И читали чужие. Открыл я его наугад, а там — любовное признание. Страница за страницей, исписанные мелким аккуратным почерком. У меня заколотилось сердце. Я скользил взглядом по строкам, а у самого одна мысль стучала: «Кто? Кто? Кто?». Ревность — чудовище с зелеными глазами, потому что она слепа. Я дочитал ее откровения почти до конца, когда до меня вдруг дошло — да это же один из троицы наших шалопаев, который даже на их фоне казался идиотом! Тут вся моя любовь и закончилось. Как отрезало.

Олег Держикрач затушил окурок в пепельнице.

— Однако ты о себе был высокого мнения.

— Еще какого! Это все и решило. Не прощаясь, я тихо вышел.

Олег Держикрач уставился в точку позади жены, точно снова увидел там свою молодость.

— А что было дальше?

— Дальше? Да ничего дальше не было, налег на учебу, поступил в университет. — Он на мгновенье замялся и, рывком придвинув кресло, обнял жену. — А выбери она мне соперника посерьезнее? Хоть бы того же безголосого певца? Первая любовь, как прививка, могла и осложнения дать.

— А она?

— Встретил ее через несколько лет — окончательно располневшую, с двумя детьми…

Олег Держикрач взял с коленей густо исписанные листы и молча запер их в стол.

На другой день, вместо того чтобы дописывать статью, он несколько часов просидел в кабинете, перебирая в памяти многочисленных пациентов, которых перевидал за жизнь, а вечером сочинил послание для Никиты Мозыря.

«Одна озлобленная обезьяна отбивалась от одиночества.

— Ой! — окликнула она орангутанга. — Остановись!

— Отдохнем? — охваченный огнем, обрадовался орангутанг.

Обезьяна обаятельно оскалилась. Они обнялись, облизались. Отдалась обезьяна орангутангу. Оба одинаково охали: “ох, ох, ох…”, оба одновременно охладели.

— Отдохнули? — осклабился орангутанг.

— Отдохнули, — ответила опостылевшему обезьяна.

Обиженный орангутанг отошел.

“О-о! — огласила окрестности обезьяна. — Опустошенность! Одиночество осталось!”

От одиночества остались омерзительные отродья. Обезумевшие, охрипшие, они обречены освоиться. Озаренные отсветом оранжевых облаков, обязаны они отблагодарить обезьяну? Орангутанга?»

Поставив точку, Олег Держикрач подумал, что в группе собрались одни сумасшедшие, так или иначе требующие лечения, потому как нормальному есть чем заняться и он никогда туда не придет. А ночью, проснувшись, Олег Держикрач долго лежал, вперившись в темноту, пытаясь представить, что будет после его смерти. На мгновенье ему удалось вдруг вообразить, что его нет, что его «я» навсегда исчезло, и его парализовал ужас.

— Вера! — закричал он жене.

— Что, что дорогой? — проснулась она.

Олегу Держикрач сделалось стыдно:

— Извини, кошмар.

Поцеловав его, жена отвернулась, а он накрылся с головой одеялом.

— Страх смерти, — шептал он про себя. — Банальный страх смерти.

Он вспомнил Модеста Одинарова, в болезнь которого неожиданно поверил. Натянуто улыбнувшись в темноте, он подумал, что большинство прошедших по земле — уже по другую сторону добра и зла, а отделять себя от них значит проявлять эгоизм. Но ему не делалось легче, наоборот, пришлось прикусить руку, чтобы снова не закричать. Сбросив одеяло, Олег Держикрач впотьмах нащупал ногами тапочки, вышел на кухню, но свет зажигать не стал. Светил уличный фонарь, в полумраке он налил себе кофе, выкурил сигарету. «Что делать? — в отчаянье шептал он. — Что делать?» Потом, чтобы не будить жену, залез под душ и, как в юности, согнувшись под теплыми струями, удовлетворил себя.

В ту ночь жена Олега Держикрача просыпалась трижды, а под утро увидела странный сон, будто людьми правят насекомые.

ЧЕТВЕРТЫЙ СОН ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

Президентом был паук. Огромный, мохнатый, он плел паутину в темном углу, и в ней, как мухи, бились люди.

— Вам же лучше, — летали вокруг стрекозы с телекамерами вместо глаз. — Чем в одиночестве скитаться по свету.

— В очередь! — в длинных коридорах кричали жуки-чиновники с булавочной головкой. — Приходите завтра!

Хлопали дубовые двери, ползали муравьи — референты, секретари, охранники.

— Козявкам вход воспрещен! — говорили они у дверей.

— А где же люди? — удивилась во сне Вера Павловна. — Те, что не попали в сеть паука?

— Как где? — вытаращилась пролетавшая стрекоза. — Вымерли! Низший вид, тупиковая ветвь эволюции.

Вере Павловне сделалось жутко, ее мозг судорожно цеплялся за привычные понятия.

— А как же армия? И почему не смахнули паука тряпкой?

— Выродились все, — на бегу поведал ей муравей. — Приспособились лишь некоторые.

— И где они?

Муравей пошевелил усиками:

— В классе одноклеточных, в окружении амеб.

— Амеб? А что будет со мной?

— А что с тобой?

— Но я же… — Вера Павловна испуганно замялась, потом гордо вскинула голову. — Я — человек!

— Разве? — удивился муравей. — Тебе это только кажется.

Он поднес зеркало, и Вера Павловна увидела в нем огромную божью коровку с мохнатыми лапками.

— Мои волосы! — вскрикнула Вера Павловна. — Мои роскошные волосы!

Повернувшись, она увидела в зеркале красно-черную пятнистую спину и разрыдалась.

— Радуйся, что родилась божьей коровкой, — успокаивал муравей. — Дольше проживешь, и бегать, как нам, не приходится.

Но Вера Павловна судорожно всхлипывала, с ужасом думая, как ей быть, пока не проснулась. Подушка была мокрой от слез. Стояло раннее утро, рядом спал с открытым ртом муж, а ее нёбо жгла горькая слюна. Вера Павловна встала, накинула халат и, вместо того чтобы готовить завтрак, залезла в интернет. В группе ее ждал пост, оставленный Афанасием Голохватом, на этот раз почему-то расставившим знаки препинания:

«Чем подлее, гаже, бесталаннее, тем выше поднимаются. Во все ли времена так было? Откуда знать? Вот я напишу: “У нас правят негодяи”, а мне: “Почитай классику — то же самое было всегда”. Как сравнить? И все же наше время имеет особый аромат, оно с душком».

«Прошлое само по себе не бывает темным или светлым, — отвечала ему Зинаида Пчель. — Оно бесцветно, потому что вобрало все цвета, и каждый видит в нем свой. Мы можем закрыть на него глаза, можем бежать во все лопатки, но прошлое, как привязчивая собачонка…»

«И куда податься? — недоумевал Иннокентий Скородум. — У власти всегда упырь, а расшатывают ее бесы. Интеллигент — это витязь на распутье».

«Интеллигент? — писал Олег Держикрач. — Интеллигенту остается незаметно пройти по обочине жизни, чтобы на похоронах сказали: “Никому не мешал, странно, что умер, ведь он и не жил”».

«Люди не виноваты! — отвечал всем Никита Мозырь. — Их поставили в такие условия, задав правила игры. Измените программы, и все встанет на свои места!»

Вера Павловна распахнула халат и взглянула на свое еще красивое тело, убеждаясь, что она не отвратительное насекомое.

«ХВАТИТ БЫТЬ БОЖЬИМИ КОРОВКАМИ! — заглавными буквами отстучала она от имени мужа. — ХВАТИТ БЫТЬ БОЖЬИМИ КОРОВКАМИ!»

Вера Павловна рассмеялась, обнажив кроваво-красные десны, и махнув крыльями ресниц, исчезла — Олег Держикрач проснулся. Было раннее утро, сквозь оконные шторы виднелось багровое солнце, рядом посапывала жена. В первое мгновенье Олег Держикрач хотел толкнуть ее, чтобы рассказать свой многослойный, как пирог, сон, но потом решил не будить.

— Сублимация, — прошептал он. — Типичная сублимация.

На кухне Олег Держикрач разогрел вчерашний кофе, сделал два бутерброда, а потом, вспомнив печальные глаза преподавателя философии, покончившего с собой, неожиданно для себя сел за компьютер.

«Согласен, миром правят крысы, — прокомментировал он пост Афанасия Голохвата. — А какой выход? Война! Грязь могут смыть лишь потоки крови! И крысы в ней захлебнутся!»

«Небытие до, небытие после, но в промежутке жизнь? — прокомментировал Иннокентий Скородум. — Беда в том, что настоящих идейных всегда мало, кругом одни имитаторы. Что во власти, что в оппозиции, все хотят одного — сладко есть, спокойно спать. А появись какой-нибудь орел, вроде Наполеона, который передушит крыс, что толку? Прольется кровь, а потом наплодятся новые. Нет, дорогой мой, миллиарды бактерий облепили гнилушку. И вдруг одна: “О, я знаю, как нам все устроить!”. Ну не смешно? Бактерии и есть бактерии: намочи — размножатся, подпали — исчезнут. Но другими им не стать! И к чему потрясения? Оторви у теста кусок, дрожжи опять восстановят. Так все и будет — разве гнилушка разлетится…»

Авдей Каллистратов уставился в монитор и подумал, что времена, как узор в калейдоскопе, который он крутил в детстве, — камушки, вращаясь, слагают разные узоры, но труба-то одна.

«Вы правый или левый?» — спрашивал его Афанасий Голохват.

«Совесть не бывает правой или левой, — отвечал он. — Справедливость всегда одна. — И, подумав, добавлял: — Вообще, все сгнило. Режим, коммунизм, национализм, фашизм, церковь, либерализм — остались одни оболочки, пустота. А хочется настоящего, искреннего, без двоемыслия и подспудного всеохватывающего желания жить дольше, а жрать больше. Так что мы, похоже, играем в слова, перебирая пустые символы, как ребенок кубики...»

«В одном вы правы, — обратился к нему Олег Держикрач, — у оппозиции нет настоящих лидеров. Я, признаться, надеялся, что они появятся стихийно при расширении протестного движения».

«Ой, ржунимагу! — тут же не упустила своего шанса Аделаида. — Он надеялся, что стихийно родятся лидеры! Да стихийно у нас может родиться только пьянка!»

Ее замечание все проигнорировали.

«Ну неужели вы не понимаете что все определяется отношением к собственности, — снова нападал Афанасий Голохват, относившийся к знакам препинания как к мелким блохам на серой кошке. — Все же проще простого!» Изменив себе, он поставил в конце восклицательный знак.

Это не ускользнуло от внимания Авдея Каллистратова.

«Это в молодости все ясно, а я дожил до того возраста, когда уже ничего не понимаешь», — примирительно ответил он.

«Оно и видно, — не отказала себе в удовольствии пнуть его Зинаида Пчель. — Прогрессирует старческий маразм».

«Поговорить не с кем, — в который раз подумал Авдей Каллистратов. — Молодые глупы, старые — злы». Он вспомнил вдруг коллег-писателей, с их завистью, заискиванием перед успешными и презрением к неизвестным, перед ним всплыли их собрания, на которых, как в общественном туалете, царила сосредоточенная тишина, потому что выступавшие открывали рты, словно рыбы на воздухе, а остальные делали вид, что внимательно их слушают, он перебрал в памяти знакомых, давно переставших ему звонить, и неожиданно подумал, что его соотечественники вынесут любые унижения и будут жаться к сапогу, который их топчет. «У нас есть самомнение, но нет чувства собственного достоинства, — думал он. — Отсюда процветающее веками чванство, холуйство и тупое равнодушие». Какие-то неясные мысли еще бродили у него, пока он не сформулировал их в посте длиной в три сигареты:

«У славян женская натура, они любят насилие, принимая его за силу, им нравится, когда к ним идут с плетью».

«Ницше начитались? — вскинулся Сидор Куляш. — И за что вы так не любите свой народ?»

«А за что его любить?» — подумал Авдей Каллистратов, но на провокацию не поддался.

«Народ-богоносец! — подбросил он в печку дров. — Истинное православие! Идолопоклонство, обрядоверие. Реформации на Руси не было, и Евангелие давно коростой обросло, вывернули его наизнанку. Кто у нас чтит его? Это у свободных главное любовь к ближнему, у рабов на первом месте страх Божий!»

Написав это, Авдей Каллистратов испытал ту озорную злость, которая помогала ему в юности открывать ногой двери в издательствах. Пока не появились комментарии, он еще успел добавить, будто опять врезал по двери с носка:

«На Руси можно жить, только если вас нет, иначе лучше уехать, иначе жить все равно не дадут».

Авдей Каллистратов еще немного покрутился на стуле и, чтобы не читать комментарии, вышел из Сети.

В следующее пришествие в группу его ждала целая переписка. Вначале он решил не просматривать ее, подозревая язвительные выпады, хотел поберечь нервы, но потом подумал, что лучше заглянуть, иначе его замучает воображение.

«Так или иначе, вы спрашиваете, кому на Руси жить? — оставил комментарий Никита Мозырь. — Хорошо, я вам отвечу,

КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО

Никому! Из века в век одни топчут, другие сапоги лижут, а счастливых — нет! И все лишние — такая у Руси программа!»

Зинаида Пчель:

«Будто где-то иначе».

Сидор Куляш:

«В Европе есть государство. И мораль».

Никита Мозырь:

«Государство? Мораль? И вы верите во всю эту хрень?»

Сидор Куляш:

«В европейскую “хрень” — безоговорочно! И нам еще лет сто топать, чтобы хоть чуточку стать на них похожими! Может, тогда нас и примут в европейский дом, и это будет для нас счастье — слиться в общий котел!»

Через час он же добавил:

«Мы не похожи на европейцев, но наши интеллектуалы от европейских не отличаются. Образование стирает национальное, посылая к черту самобытность!»

Олег Держикрач:

«У нашего народа сильны садомазохистские комплексы, ему чем хуже, тем лучше, а жесток он до крайности. Отсюда все мифы о его сострадании, жалостливости, загадочной русской душе. Замещение того, чего нет. А любовью на Руси не пахнет. Грубостью, скотством, безразличием…»

Никита Мозырь:

«Нам всегда кажется, что у нас правят не те люди. Но наш народ, как ни тасуй, все равно получишь х... хорошо известный результат! Прилипли к телевизору, как мухи на клей. А там говорят и говорят… Но что мне могут сказать, чего я и сам не знаю? Или у них другая цель? Ведь выбирать нам приходится из медийных лиц, потому что других мы не знаем… Куда выбирать? Да всюду! В президенты, в политики. Разве можно после этого им доверять?»

Олег Держикрач:

«Политики и не могут вызывать доверия! Но кто виноват? Они говорят нам то, что мы хотим услышать, а правду скрывают или сами не знают».

«Политики вызывают доверие только когда молчат а молчат они только на веревке», — оборвал дискуссию Афанасий Голохват.

Теперь у Авдея Каллистратова переменилось настроение, он читал комментарии, и его душила злость: одно дело самому признать, что жизнь загублена, другое — когда на это укажут. Как при разговоре с иностранцем, в нем проснулся обиженный русский.

«А вера? — развернулся он на сто восемьдесят градусов, забыв, что писал чуть раньше. — То незримое, что отличает нас от европейцев? Мы — стихийные метафизики. Это сейчас кругом мещанство процветает, вещизм. Но это пройдет, народ, как ребенок, его воспитывать надо, а не бросать на произвол, как маугли».

«Кто?» — тут же спросил Никита Мозырь.

«Что кто?»

«Кто воспитывать будет? Вы? А Афанасию Голохвату недавно писали: “Меня увольте, мне бы с собой разобраться”. Определитесь, наконец, Иннокентий Скородум!»

Авдей Каллистратов увидел торжествующую улыбку Никиты Мозыря, которая заставляла взглянуть на себя. «Действительно, одному одно, другому другое, — покраснел он, будто его поймали за руку. — Выходит, с собой еще не разобрался».

«Вы не патриот! — поддела его Дама с @. — И народ не любите, и Родину. Иннокентий Скородум, а вы не из малого народа, с библейских времен рассеянного по земле?»

Авдей Каллистратов представил Дашу, ее сердитое лицо, когда она бросала ему это несуразное обвинение, но ответил ей, будто незнакомой, будто Даме с @, будто самому себе:

«Всю жизнь считал себя русским почвенником, не думал об эмиграции, и тех, кому где хорошо, там и Родина, недолюбливал. Да что там недолюбливал, ругал почем зря! А под старость вдруг понял, что я-то и есть еврей, гонимый в своем Отечестве, всюду чужой! И к тому же чистый либерал. В минуту общественных потрясений все встает на свои места».

«Общественных потрясений? — тут же прицепился Сидор Куляш. — Не довольно ли их? Россия исчерпала лимит революций!»

И пока Авдей Каллистратов колебался, вступать ли с ним в полемику, разразился длинным постом Афанасий Голохват:

«Говорят революционеры чтобы сплотиться быть решительными и не выдать при аресте свою тайную организацию должны быть повязаны кровью и с этой целью могут убить даже своего же товарища колеблющегося шатающегося а разве вы тут в группе не исключили Раскольникова не вычеркнули его из списка живых потому что в виртуальной реальности то на что вы его обрекли означает смерть так чего пугаться революций если вы каждый день и так убиваете».

«Угораздило здесь родиться! — появился под ним комментарий Модэста Одинарова. — Теперь уезжать — плакать, оставаться — рыдать. А посетить мир в его минуты роковые? О, наш народ в такие мгновенья показал себя во всей красе! Несколько хулиганов терроризируют толпу. Все молчат, терпят. Наконец, кто-то не выдерживает, выходит вперед. И тут начинается! “Да кто он такой!”, “Ему что, больше других надо?”, “Тоже, смельчак, на их место, видать, хочет!”. И сзади за одежду тащат, готовые разорвать. Нет, наш народ без кнута, как без пряников!»

«Так народ пробуждать надо расталкивать нести в его массы идеи», — заступился за соотечественников Афанасий Голохват.

«Вот и пробуждайте, — открестился от народа Иннокентий Скородум. — Пока не устанете, почувствовав, что поднимаете пьяного, который снова и снова валится в грязную лужу и блаженно храпит».

Написав это, Авдей Каллистратов вдруг почувствовал, что давно перешагнул свой возраст — тот, которым измерял время внутри, — он увидел, что теперь не только на улицах, но и здесь, в группе, кругом молодые люди, которым не понять его иронии, порожденной печалью и отчаянием. Ему захотелось вдруг снова стать молодым, рубить с плеча, не оглядываясь назад, не заглядывая вперед, и под влиянием минуты он решил объясниться:

«Поймите, я уже немолод, чтобы связывать жизнь с переменой власти, надеясь на грядущие улучшения. Скорее наоборот, все только ухудшится. Потому что власть — это болезнь, и новая всегда острее хронической. Но поверьте, когда рухнет действующая, я буду счастлив!»

Это понравилось всем без исключения.

Авдей Каллистратов улыбнулся, опять подумав, как доверчивы люди и как легко их обмануть, говоря то, что им хочется услышать. А на сайте развернулась ожесточенная полемика. Не слушая друг друга, на ее площадке толкались, как в набитом до отказа автобусе.

«То, что вы описали, Модэст Одинаров, когда сзади одергивают свои, называется “синдром псарни”, хорошо известный в психологии эффект, — посчитал своим долгом просветить Олег Держикрач. — Когда накалены страсти, тявкают сначала на хозяина, но власть высоко — не укусить, и тогда от бессилия начинают грызться между собой».

«А кто повышает градус ненависти, — не унимался Афанасий Голохват. — Кто до этого довел говорю же во всем виновата власть».

Спустя полчаса Авдей Каллистратов уже скользил взглядом по ленте:

«Да вы сами-то понимаете, что говорите?»

«Пишу яснее некуда — научитесь складывать слога!»

«А причем тут еврейский вопрос?»

«Притом же, что и русский ответ!»

«Логика идиота!»

«От такого слышу!»

«Дядя, ты совсем ку-ку?»

«Ага, я пришел к тебе с приветом!»

«Во, блин, пошло мочилово, не группа, а бойцовский клуб!»

Авдей Каллистратов не стал дочитывать до конца.

«От безысходного отчаяния на Руси два пути — либо окунуться в постоянную агрессию, либо впасть в тупое равнодушие, — подливая в огонь масла, прорезался Иннокентий Скородум. — Даже у самого мерзкого хозяина у нас всегда найдутся заступники, — в этом проявляется на Руси сакральный смысл власти. Вот наши бесы, они, как и Бог, внутри, а их ищут за семью морями».

Это понравилось Модэсту Одинарову и Ульяне Гроховец.

Олег Держикрач читал комментарии и все больше укреплялся в своей догадке — нормальных людей в группе нет. Он заметил, как Никита Мозырь с присущей шизофреникам торопливостью укоротил вопрос «Кому на Руси жить хорошо?» на целое слово, и это вызвало у него иронию:

«Не слишком ли часто мы задаем вопрос: “Кому на Руси жить?” Почему и сейчас, Никита Мозырь, вы подсознательно укоротили его, точно гильотинируя?»

Олег Держикрач усмехнулся, довольный, что так точно подметил крен в русской истории, но вскоре вынужден был пожалеть о своем замечании: в Никите Мозыре проснулся пациент психиатрической больницы.

«Хорошо, кому на Руси жить? — растерялся он. — Хорошо? Кому? На! Коммуна Руси — жить! На Руси жить хорошо, жить хорошо…»

«Как вы их поддели! — по-своему поняла его Дама с @. — Меня с детства задолбали эти попугаи: “Кому на Руси жить хорошо, кому на Руси жить хорошо…”»

«Наш патриотизм убог, а вера зла, — внесла вдруг серьезную ноту Ульяна Гроховец. — На словах она мать, а на деле — мачеха».

Прочитав ее комментарий, Олег Держикрач открыл свой старый пост.

«Спасение через любовь и неприятие инакомыслящих. Как это сочетается? Бывает, лекарство приводит к обратному результату. Был у меня один больной — тихий обыватель, не герой, который на всякий случай приобрел пистолет. Помню его срывающийся голос, нервные пальцы, которые теребили пуговицу на халате, пока он рассказывал свою историю: “Я с детства робкий, можно сказать, трусоватый, и ствол первое время добавил мне уверенности. — По тому, как он назвал пистолет «стволом», я понял, что он так и не повзрослел. — Иду в темном переулке, сердце колотится, а я только крепче сжимаю ствол. Раньше бы я туда и не сунулся, а теперь точно подмывает себя проверить. И компанию подозрительную раньше бы за квартал обошел, но, ощущая в кармане холодную сталь, теперь шагаю напролом. Сам провоцирую, и даже раздражаюсь, что ничего не происходит. Так и шло день за днем. Только замечаю, страхи мои стали нарастать. В парке, как стемнеет, от каждого куста шарахаюсь, а ворона вспорхнет с ветки — хватаюсь за ствол. Можно закурить? — Я поставил перед ним пепельницу. — Ну вот, однажды не выдержал, хорошо, в лесу был — открыл пальбу. Не помню, как расстрелял всю обойму, очнулся — вокруг птицы окровавленные крыльями о землю бьют. А я стою с пустым оружием, руки трясутся… Ствол я там же в лесу выбросил, но с тех пор меня преследуют страхи…” Так и вера — опасная вещь. Может, лучше ее и не иметь?»

«Выдумали?» — раскусил его тогда Раскольников, которого еще не исключили из группы.

«Выдумал, — признался он. — Ну так — к месту!»

«Ни хрена! К стволу привыкаешь, как к руке, попробуй выброси. А вера, как дым, сегодня есть, завтра и след простыл».

Олег Держикрач хотел выставить свой пост заново, но, пока перечитывал, передумал. Вместо этого он написал:

«Прощай, Великая Россия!

Страна рабов, страна рабов…

Вы — обойденные Мессией,

Вы — содержимое гробов!»

ОЧАРОВАННЫЙ СТРАННИК

Саша Гребенча появился в группе под настоящей фамилией.

«Что таким скрывать, — набросилась на него Степанида Пчель. — У них даже пол не определишь».

«Для мужчин я женщина, для женщин — мужчина», — прицепив смайлик, ответил Саша Гребенча.

«Бисексуальный, значит, — уточнила Аделаида. — Только тебя нам здесь и не хватало!»

Саша Гребенча был не молод и не стар, он курил трубку, бомбардируя тонкими струями дыма низко висевшую люстру, чашку остывшего кофе и пепельницу для гостей, которые к нему не заходили уже много лет. Задумавшись, он кусал конец трубки или чесал им за ухом. Саша Гребенча был блогер. Целыми днями он вращался на ввинченном в пол табурете, стучал по клавиатуре, отправляя сообщения в разные группы, где состоял, пытаясь разобраться, кто такой человек. «Человек, — думал он, — человек, человек…» В своем блоге Саша Гребенча рассуждал о жизни и смерти, откликался на мировые события, его отличали искренность, прямота и трезвомыслие, но подписчиков у него было раз-два и обчелся. В группу Олега Держикрача Саша заходил неохотно, он не мог разделить царившего там пессимизма, считая, что появиться на свет — редкостное везение. В этом он находил общий язык с Ульяной Гроховец.

«Есть какая-то завораживающая тайна, которая делает жизнь прекрасной, — написал он. — Разгадывать ее, прикасаясь к миру с изнанки, ощущать его глубину, закрытую для поверхностного, скользящего взгляда. Разве не в этом смысл?»

«Жить прикольно, — согласилась она. — Умирать круто».

«Смысл в том, что в жизни нет никакого смысла, — охладил их Иннокентий Скородум. — И тайны нет. Здесь окружает пустота, а впереди ожидает тьма. А все остальное выдумки. Я и сам написал много книг, увлекая туда, где сам не был, да и не хотел быть».

«Ну какой смысл у программы! — подключился Никита Мозырь. — В ней может быть заложена лишь иллюзия смысла, без которой прога дает сбой. Вот мы и мучаемся в отсутствии этой иллюзии».

А потом появился Модэст Одинаров:

«Саше Гребенче. По поводу изнанки мира. Вы абсолютно правы, жизнь — величайшая из тайн! В юности, когда я ехал на ночном поезде, то, глядя в окно, всегда представлял, как, выскочив на ходу, бегу в темневшие вдоль дороги леса, стучусь в избы, таинственно мигавшие огоньками, а там — пьют вино, ведут разговоры и будут мне рады, как неожиданному гостю».

Полина Траговец писала правду. Когда в детстве мать возила ее к морю, она никак не могла уснуть, слушая в купе мерное сопение. Отодвинув занавеску, она прижималась лбом к холодному стеклу, и ее переполняли чувства, ей казалось, что мир, загадочный и таинственный, скоро подарит ей ключ к каждому своему уголку, в котором она будет счастлива.

«Телевизор молча смотрят, — обрезал Модэста Одинарова Иннокентий Скородум. — Пьют водку и дверь не откроют. А говорить с ними не о чем. Услышишь только то, что им Сидор Куляш приготовил. И потом, это для вас, пассажира, все вокруг было загадочно, а для машиниста? На одном и том же маршруте? Он, конечно, знает про него не больше вашего, но привык. Так и мы, повзрослев, привыкаем, выбора-то нет!»

«Все обыденно, — подключилась Дама с @. — Но вера-то остается! Вера всегда при нас».

«Вера? Во что? В глубине мы все атеисты, иначе бы не так жили. Я и сам в юности стучался в сердца глаголом, а войдя в годы, понял, что можно кричать до хрипоты, но мир останется глух».

«Мир не однороден, — не успокаивалась Дама с @. — Тот, в котором вы вращались, оказался глух. Но есть и другие люди, другие места, есть, наконец, церковь, куда вы ни ногой».

«Зачем она так? — смутился Авдей Каллистратов. — Сколько можно мстить». Он вспомнил их жизнь на даче, вспомнил Дашино белое платье, которое задиралось, когда он все сильнее толкал упрямые качели, и ему стало обидно за свою откровенность. Закрыв лицо руками, Авдей Каллистратов сидел перед экраном, на котором продолжалась переписка.

«Церковь? Этот христианский фан-клуб? — ехидничал Никита Мозырь. — Похоже, вы, сударыня, сбрендили! Считать, что ее прихожане ближе к Христу, все равно что думать, будто поклонники известного футболиста лучше других умеют забивать голы. Присмотритесь, на ее воротах проступает: “За царство небесное всех порублю, в царство небесное вход по рублю!”»

Саша Гребенча читал эти комментарии, и ему делалось тошно. «Как они могут! — думал он. — Как они могут!» Кочуя по группам, Саша познакомился со множеством людей, представляя их в лучшем свете, чем они были на самом деле. Он странствовал по интернету, глядя на него сквозь розовые очки, не замечая ни царившей там пошлости, ни грязи.

«Разве не чудо, что из обезьяньего царства родилась цивилизация! — написал он. — Разве не чудо, что человеческое общество проделало такой длинный путь!»

Саша был уверен, что эта поражавшая воображение истина встретит всеобщее одобрение, выступив прологом к примирению.

«Чудо чудное, диво дивное, — ухмыльнулась ему смайликом Аделаида. — Проделать такой путь, чтобы снова стать обезьяньим!»

«Хуже обезьяньего, — тут же налетел Иннокентий Скородум. — Чем живет человек? Искусством? За прогрессом следит? Нет же, одна у него радость — соседа обскакать! На этой низкой энергии и живет, от ее батарейки и заряжается. Обезьяны хоть друг друга держатся, а у нас все привязанности заменила одна — зависимость от банковского счета».

«Сам ты обезьяна! — написала Ульяна Гроховец. — Зеркалу морали читай!»

Это понравилось Модэсту Одинарову, Степаниде Пчель и Даме с @.

«Как же они не любят друг друга, — читая комментарии, подумал Саша Гребенча. — Боже, как не любят!»

Были у него и другие наблюдения. По выходным жизнь в интернете замирала так же, как и на улице, но к группе это не относилось, из чего Саша сделал вывод, что многие ее участники не ходят на службу. Другие группы посещали, устраивая перерыв на работе, тайком от начальства оставляя короткие бессвязные комментарии, а в ней «зависали» от души, и почти каждый пост подвергался долгому обсуждению. Несмотря на царившие споры, группа представала тесно сбитой, точно стая собак, дружно бросавшаяся на кость. Саша заметил также, что ее участники симпатизируют друг другу, разбиваясь на мелкие внутренние группки, как апостолы на «Тайной вечере», вовсе не по религиозным или политическим пристрастиям, а по интеллектуальному уровню. Дружили Никита Мозырь и Афанасий Голохват, отмечая как понравившиеся комментарии друг друга, пели в унисон Иннокентий Скородум и Сидор Куляш, которых он представлял в жизни явными антиподами. Людей объединяет не приверженность одному движению или мифу, а сумма полученных знаний и прочитанных книг, рассуждал он, идеологические противники, находящиеся на разных полюсах, быстрее найдут общий язык, чем с малообразованными единомышленниками.

«Нас сближают и разделяют не те внешние этикетки, не те ярлыки, которые мы вешаем на себя, заполняя листы социальных опросов или анкету в бюро знакомств, а что-то глубинное, не поддающееся проверке, которое проявляется лишь на опыте, — написал он. — И разве не глупо объединяться в партии с их отвлеченными программами, где вероятность найти понимание не больше, чем в другом месте?»

Это никому не понравилось.

«Ты дурак или как?» — вопросом на вопрос ответила Аделаида.

«Сам-то понял, что написал?» — поддержала ее Ульяна Гроховец.

«Отняли у юродивого копеечку, он и разговорился», — издевался Сидор Куляш.

У Саши навернулись слезы. «За что? — не понимал он. — За что они меня унижают?» Такие комментарии заставляли его на время покидать группу, пока любопытство и одиночество не перевешивали гордость и обиду.

Осень переходила в зиму, на окнах появилась изморозь, а во дворе облезлая ошалевшая собака ловила пастью одиноко кружившие снежинки. Саша Гребенча вспомнил, как много лет назад в точно такой же серый день его навестил отец. Зажав к кулаке алименты, отец долго топтался у калитки, борясь с проржавевшей задвижкой, потом пересек двор, оставляя на снегу великаньи следы от резиновых сапог, дернул дверной колокольчик, на звяканье которого вышла мать, и они зашептались в прихожей, не подозревая, что сын, подкравшись на цыпочках, припал ухом к бревенчатой стене.

— Ну зачем ты так? Я же только взгляну.

— А зачем ты? Для него это лишняя травма.

— Я же его отец!

— Именно поэтому!

Испугавшись повышенного тона, стихли.

— Не будь жестокой, — сглотнув слюну, опять начал отец.

— Я — жестокая? А ты, ты… — Мать захлебнулась в упреках, но, выговорившись, сдалась: — Только в моем присутствии.

Отец скользнул за дверь, мать — его тенью, сложив за спиной руки, прижалась к стене.

— Как поживаешь? — начал отец наигранно весело. Но тут же сбился, запустив в волосы сына шершавую пятерню, привлек к себе. И Саша почувствовал, как его обожгла слеза. Ему сделалось неловко, захотелось, чтобы отец поскорее ушел, и он был рад, когда, сунув руку в карман, тот поспешно выложил на стол горсть карамели, как всегда делал перед уходом. Саша стоял посреди комнаты, растерянно глядел на мать, и ему хотелось расплакаться от бесконечной жалости к себе. Отец в три шага пересек комнату, не прощаясь вышел за дверь. Мать юркнула за ним, а Саша смотрел в окно на удалявшуюся спину, и чувствовал, что видит отца в последний раз.

Отец жил в мрачном доме, половина которого была наглухо заколочена, точно там поселилось его отрезанное прошлое, и вечером, когда зажигали свет, сквозь покосившийся щелястый забор с улицы можно было увидеть нарисованного пальцем на пыльном окне детского человечка, составленного из кружка и палочек. А надпись под ним читалась на просвет наоборот лишь в исключительно солнечный день: «Саше пять лет». С годами отец выходил из дома все реже, а когда однажды исчез, Саша нашел на чердаке множество пустых бутылок, между которыми сновали мыши. Рядом грудились изгрызенные пожелтевшие листы, перевязанные бечевкой. Аккуратно разложив их на полу в свете тускло бившего солнца, Саша прочитал дневник, у которого в отличие от жизни не было начала и конца.

«…сегодня твою игрушечную собачку переехал велосипед, разрезав надвое, и ты беспомощно прижимал к груди ее части, пытаясь составить, лепетал на своем детском языке, и в твоем “гу-гу-гу…” слышалась безмерная жалость. Собачка для тебя была живой, ты ревел, словно ее можно склеить слезами, а я, такой же беспомощный, поднял тебя на руки, прижав к сердцу. Чтобы отвлечь, я купил тебе новую игрушку, но ты показывал пальчиком, точно говоря, что она не заменит старую, погибшую, как родившиеся никогда не заменят умерших. Потом ты успокоился. Я повел тебя в парк кататься на чертовом колесе. Протягивая вниз ручку, ты показывал на деревья, силясь сказать, что они, такие огромные вблизи, стали крошечными, будто те, с кем мы давно расстались, от кого отдалились, и кто уже истерся в памяти. Мы гуляли весь день, я показывал тебе одиноко гудевших шмелей, жирных гусениц, свисавших с ветвей на блестевших нитях, а когда ты уставал, усаживал рядом с собой на скамейку. Домой тебе не хотелось, и мне пришлось сказать, что с заходом солнца деревья засыпают и мы не должны им мешать. Ты не поверил, недоумевая, чем может повредить деревьям наше присутствие, всю дорогу дулся, и я чувствовал вину. А вечером после ужина ты опять громко смеялся, посадив на колени, я катал тебя на лошадке, чтобы загладить обман, рассказывал про невидимых сторожей, охраняющих наш сон, которые очень недовольны, если им мешают. Ты сосредоточенно слушал, сдвинув брови, кивал головкой, но, уложив тебя, я сидел у твоей кроватки, смотрел на твое ангельское личико и видел, что

ВО СНЕ ТЫ ГОРЬКО ПЛАКАЛ

О чем? О безвозвратно ушедших? Посвященный в тайну, плакал о том, что никто не придет назад? Склонившись, я поцеловал тебя в холодный мраморный лоб и подумал, что пройдет много лет, и ты забудешь свои детские страхи, обиды, недоумение, как забыл свою испорченную игрушку, но щемящая боль от царящей несправедливости будет жить, забившись в укромный уголок твоего сердца. И жалость, да-да, бесконечная жалость будет внезапно охватывать тебя при виде страданий, жалость, перемешанная с обидой от собственного бессилия. Или твое сердце очерствеет, покрывшись коростой? “Как иначе жить? — будешь оправдывать ты себя. — Иначе жить невозможно”. Я не стану осуждать тебя, потому что к тому времени меня не будет. Лиловые пятна ложатся на обои, твое детское одеяльце пестрит, переливается, как полосатый тигр, которого я положил рядом с тобой перед сном. Пока ты мудрее, ты еще помнишь давно мной забытое, и твое превосходство во всем — чистом незамутненном взгляде, пухлом, наивно кривящемся рте, по-своему понимая мир, ты гораздо ближе к его разгадке. А помнишь ли ты, как прошлым летом ездил к морю, как носился голым по пляжу, пугая возле урны жирных голубей, лениво клевавших объедки? Помнишь, как размахивая лопаткой, топтал босыми ногами ласково набегавшие волны? “Безтрусня, безтрусня!” — дразнили тебя мальчишки постарше, но ты лишь счастливо улыбался в ответ. И ты первым заметил утопленника. “Дя-дя, — тыкал ты в него своим пластмассовым совком. — Дя-дя”. Тело уже накрыли простыней, из-под которой торчали почерневшие ступни. Час назад его вытащили спасатели, напрасно делавшие искусственное дыхание. Что случилось? Как он утонул? Море здесь мелкое, до буйков — по грудь, оно кишело купавшимися, но в прозрачной воде его заметили только на дне. Взяв за ручку, я отвел тебя под тент, мы стали копать ямки, в которых сочилась вода. Выгребая песок, ты сосредоточенно делал куличи и, мне показалось, по-своему осознал случившееся, став вдруг не по-детски серьезным. Покойника точно не замечали. По-прежнему ели сладкую пахлаву, гоняли мяч, с хохотом доставая, когда тот улетал в море. А он лежал одинокий, отгороженный невидимой стеной, ставший чужим, брошенной вещью, нелепо выглядевшей посреди буйного празднества, и только костлявые чайки, прежде чем взлететь, кособоко прыгали вокруг него. Наконец появился толстяк в белом халате с бордовым от жары лицом. Отдернув простынь — на мгновенье показались застывшие, стеклянные, как у куклы, глаза, — врач тут же выпрямился. От наклона кровь прилила у него к щекам. Отступив в тень к спасателям, он достал сигарету:

— Я бессилен.

— А что же нам с ним делать?

— Да что угодно. Хоть фотографируйтесь на память. А надоест — позвоните в морг.

Машина задерживалась.

— А куда им спешить, без работы не останутся, — мрачно пошутил врач, прежде чем затушить в песке окурок и направиться к воротам.

Под нещадно палившим солнцем уже топтались зеваки, пляжные торговцы, поставив сумки с рапанами, косились на неподвижное тело, на задранные ступни, которые омывали волны, а ты, бормоча что-то на своем загадочном языке, выкладывал в стороне куличик за куличиком…

А завтра мы снова пойдем в парк. Вдоль аллей будут ядовито краснеть маки, а с тополей лететь пух и на блестящих шелковых нитях будут опять свисать зеленые гусеницы. Я возьму тебя на руки, ты цепко, как все малыши, обхватишь мне голову и будешь щекотать ухо своими непонятными словами, это будет счастьем, но при всей своей мудрости тебе не постичь бездны моего отчаяния…»

Гребенча-старший пропал в одночасье. Говорили, завербовался в тайгу мыть золото, ходили также слухи, что в цыганском таборе он пляшет голым с прирученным медведем и у него две жены. Но Саша Гребенча не верил. Он знал, что отец давно на небесах, откуда наблюдает за его бессмысленной маетой, оберегая от опасностей и подавая во сне нужные советы. Работал Саша кем придется — кочегаром, грузчиком, случалось, преподавал историю раннего барокко, или читал лекции о кулинарном искусстве. Его везде принимали, но общего языка он не находил ни с кем. Его все с интересом слушали, но никто не понимал, потому что говорил он всегда самим собой. Сашу Гребенчу это мало волновало, к чужому мнению он вообще был равнодушен, а на вопрос, чем занимается, обычно отвечал, что ничем, кроме того, что живет, потому что все остальное не стоит и выеденного яйца.

Разводы в семье наследуются, как цвет глаз, и, вспомнив тот день, когда его навещал отец, Саша Гребенча подумал, что сегодня крайний срок, когда нужно переводить алименты сыну. Надев резиновые сапоги, он пересек двор, погладив льнувшую к нему облезлую собаку, долго возился с проржавевшей задвижкой, а выйдя за калитку, достал из почтового ящика груду неоплаченных счетов. Ему никто не писал, все давно забыли его адрес, и, оставляя по дороге на почту великаньи следы, он подумал, что, вернувшись, забьет наглухо щель для писем.

Но все это было много лет назад — и воспоминания, и алименты — сын Саши Гребенчи давно вырос, превратившись в юношу с острым взглядом и крепкими руками, — и далеко был уже тот серый осенний день, когда ошалевшая собака, лязгая зубами, кусала воздух, ловя одинокие снежинки. Теперь на дворе стояло лето, воздух был, как расплавленное стекло, на стенах домов прыгали пущенные окнами «зайчики», и даже безногому нищему у церкви хотелось петь. Прочитав суждение Никиты Мозыря о церкви, которую он сравнивал с клубом футбольных болельщиков, Саша Гребенча не смог не ответить.

«Господь с вами, Никита! Сходите в храм, вы увидите, как красиво, как торжественно в нем, особенно на Пасху, — идет служба, пахнет ладаном, и лица у всех благостные, просветленные. А глаза? В них светится тихая радость. Разве это похоже на рев футбольных трибун?»

Саша Гребенча писал от чистого сердца и казался себе убедительным. Он хотел донести свою правду, не унижая, не оскорбляя чужое мнение, а сделать это со всей кротостью и любовью. Он рассчитывал, что Никита Мозырь надолго задумается над его словами, но тот не заставил ждать.

«Когда Господь создавал человека, указав ему путь в царство небесное, то вряд ли предполагал те обрядовые тонкости, в которых сам черт ногу сломит!»

«Спать на тебя, юродивый! — выстрелила следом Ульяна Гроховец. — Шел бы отсюда, и без тебя тошно».

Саша Гребенча не нашелся с ответом. «Когда говорят на разных языках, диалог распадается на монологи», — подумал он и, взглянув на часы, вышел из Сети. Было время запускать бумажного змея. Это увлечение Саша Гребенча вынес из детства, когда отец аккуратно приклеивал к листу бумаги скрещенные палочки из легкой фанеры, прицеплял змею хвост из мочалки и, выйдя во двор, собирал окрестную детвору — задирать в небо вихрастые головы. А теперь Саша, как одинокий собачник, выгуливал на поводке свою бумажную птицу, заставляя ее то нырять вниз, то взмывать в поднебесье. И уже не было рядом отца, не глазели из подворотен мальчишки, а в окнах, отодвинув занавески, шипели: «Сосед-то совсем спятил».

— Эй, мужик! — окликнул раз Сашу Гребенчу пьяный. — Чем с вытаращенными глазами бегать, пойдем лучше выпьем.

— А ему тоже нальем? — рассмеялся Саша Гребенча, ткнув пальцем в летящего змея.

— А зачем? Он и так воспарил.

Вернувшись в тот день домой, Саша Гребенча, не раздеваясь, долго стоял в прихожей у зеркала, всматриваясь в жесткие складки, залегшие возле рта, и думал, что и тут оказался в одиночестве, запуская в небо бумажного змея, в то время как остальные запускают в себя зеленого. По стенам уже плясали тени дрожавших на ветру деревьев, причудливо ложился свет взошедшей, как на дрожжах, луны. В плывших сумерках Саша Гребенча смотрел на темневшую напротив картину в тяжелой раме — натюрморт украл у жизни яблоки в хрустальной вазе, поместив их в вечность, — на светившиеся фосфором часы, замкнувшие бесконечное время в тюрьму циферблата, заставив его бегать по кругу, на пылившиеся в шкафу книги — целое кладбище слов, и думал: почему все, к чему прикасается человек, становится искусственным?

«Разве соловей в ночном саду и на киноленте один и тот же? — написал он в интернет-группу. — Мы проводим жизнь в искусственной среде».

«И слава богу! — тут же ответил ему Сидор Куляш. — Или вы предпочитаете месить вековую грязь?»

Саша Гребенча опять не нашелся с ответом. На месяц он исчез из поля зрения интернет-группы, не отметившись ни одним постом.

Так прошло лето.

Прикованный цепями к своему одиночеству, Саша давно привык к томительному течению времени, словно пень, обросший мхом и ядовитыми подземными грибами, облепившими вместе с плесенью его корни, но даже ему было трудно пережить начавшуюся, точно насморк, слякотную осень, с ее докучливыми дождями, ненастными утрами, мало чем отличавшимися от вечеров и походившими на слона, закрывшего серой тушей оконный проем. На улицу боялись выходить даже покойники, и Саше оставалось целыми днями, обувшись в теплые ботинки, сидеть на крыльце, глядя на уставший от времени мир с таким выражением, с каким смотрят на медленно текущую реку, и прерывая это созерцание лишь обедом и ужином. Ел Саша Гребенча широко открывая рот, так долго пережевывал пищу, прессуя тяжелыми лошадиными зубами, а между кусками разговаривал с собой:

— С возрастом не постареть — большое искусство. — Но не повзрослеть — еще большее.

Он посыпал блюдо мелко нарезанным укропом, добавлял красного перца.

— Мы живем мифами: бедность, богатство, власть. А жизнь устроена иначе. Мы прикасаемся к ней во сне, когда бываем царями, нищими, богами, и видим, что царь тот же раб, а бог слеп, как червь. Так кому завидовать? Кому поклоняться? Кого презирать?

Так говорил Саша Гребенча.

— И нет сильных мира сего, потому что все одинаково слабы, а понятие о социальной лестнице вбито в голову, чтобы подменить шкалу счастья.

Так говорил Саша Гребенча.

— О, человек! Где сегодня плоды рук твоих? Нигде! Чем обязаны тебе другие? Ничем! Как ты связан с ними? Никак! Неужели мы вырвались из плена несуществования, чтобы провести жизнь в забытьи? Не спать, не спать, не спать! Каждое мгновенье быть в этом яростном и прекрасном мире!

Так говорил Саша Гребенча.

— Дни наши коротки, а ночь длинна. За каждым углом нас, как зверь, караулит небытие, так неужели это не причина для радости? Счастье мимолетно, стоит ли отравлять его темными мыслями?

Так говорил Саша Гребенча.

Но его слушали только рассевшиеся на заборе галки да собственная тень. Закончив ужин, он составлял в мойку грязную посуду, нацепив фартук, грел воду в огромном кипятильном баке, и тогда к нему каменным гостем приходило воспоминание…

Он сидел на краю дивана, а его последняя женщина, с которой они прожили год, уходя, бросала упреки:

— Ты из тех, кто, занимаясь любовью, засыпает и видит во сне, как занимается любовью. С тобой можно спать, если только видишь одинаковые сны.

— А что хорошего наяву? — по-своему понял он. — Во сне от тебя ничего не зависит, и все происходит само собой. Наяву от нас тоже ничего не зависит, но кажется, что это не так, и от этого одни мучения.

— А я про что? Только трепаться и можешь. Да во сне бормотать.

От обиды он растерялся.

— Ну почему бормотать, я владею несколькими языками.

— О, чем больше языков знаешь, тем больше возможностей обнаружить свою глупость! У меня попугай говорит на пяти языках и на всех пяти выглядит попугаем.

Тонкие губы, злые насмешливые глаза.

«Не бросай меня», — хотел он сказать, точно предчувствовал беду, которую увидел за порогом. «Тебя? — зазвенело у него в ушах. — Так тебя со мной давно нет! Ты всегда сам по себе, и жена с тобой правильно рассталась!»

— Не трогай жену! — вскочив, закричал он.

Удивленный, испуганный взгляд. Вещи, быстрее полетевшие в сумку. Треснувшее, как стекло, молчание, в которое камнем швырнули «прощай»? Или это хлопнула дверь? Стук каблуков на лестнице. А потом долгая, растянувшаяся на целую жизнь, минута, когда он застыл, уткнувшись лбом в дерматиновую обшивку двери. Он не сможет себе ее простить. Почему он не бросился следом? Почему не остановил? Почему снова сел на диван? Тысячи «почему» впиваются пиявками в мозг. На них нет ответа, и они безнаказанно свербят сознание, вытесняя из него визг тормозов, глухой удар и крики собравшейся толпы. Бледный водитель джипа, трясущиеся руки которого не могут достать из пачки сигарету, отброшенная под колеса сумка с разошедшейся «молнией», нелепо выглядящий на тротуаре лифчик. Все это сотрется, исчезнет, пропадет. В памяти останутся лишь неестественно кривившаяся шея и по-детски широко раскрытые мертвые глаза.

«Как все хрупко, — думал Саша Гребенча, осторожно моя тарелку под горячей струей. — Боже, как хрупко».

Прожив много лет в городе, Саша Гребенча переехал недавно в увитый диким виноградом родительский дом, откуда ушел отец и где умерла мать. Опустевший после ее смерти, тот стоял на окраине, в двух шагах от леса, которым Сашу пугали в детстве. Тогда он боялся водяных, леших, утаскивающих в омут русалок, страшился колченогую бабу-ягу и болотную кикимору. А теперь боялся повседневности и, забредая в чащобу, жаждал чуда. «Неужели все так и пройдет? — спрашивал он худощавого поседевшего мужчину в зеркале. — Неужели впереди одинокая старость в обнимку с интернетом? А может, это и есть счастье?» На пыльном, захламленном чердаке когда-то зимовали осы, и Саша Гребенча сжигал их серые засохшие гнезда, из которых ушла жизнь. Вспыхивая, они рассыпались горстками золы, а Саша Гребенча, глядя на белый дым, представлял, как в тесных сотах точили друг о друга жала, будто люди — языки. У одиночества много ступеней, вначале отдаляются близкие, потом от себя отдаляешься сам.

Кругом было тихо, как бывает в деревне ближе к ночи, а когда-то, в пору студенчества, Саша снимал квартиру в шумном городе, и в память ему навсегда врезался старый кирпичный

ДОМ

Согнутый под прямымй углом, он был населен, как арбуз семечками, и отрезан от остального мира трамвайными путями, огибавшими его по катетам крыльев, а стороны двора его гипотенузой отсекал речной канал с горбатым мостиком, который охраняли глядевшие в воду каменные львы. Летом дом нещадно калило солнце, зимой его камень промерзал насквозь, а осенью мелкий косой дождь сек бурый кирпич, смывая облезлую краску, и тогда лужи во дворе были по колено. Во дворе стояли песочницы, в которых днем возились дети, а дальше, за забором, помойные баки, где ночами рылись при свете фонарей бродячие псы. На последнем курсе Саша заболел пневмонией и пропустил полсеместра. Завернувшись в шерстяной плед, он целыми днями просиживал у окна. Его квартира была на втором этаже, и скоро он изучил всех жильцов своего подъезда. Вот выходят живущие над ним близнецы — его ровесники, высокие, стройные, у них ни на минуту не закрывается рот, они говорят одновременно, слушая друг друга, будто отражения в зеркале, вот угрюмый мужчина с верхнего этажа заводит утром машину, чтобы отвезти в школу сына-инвалида, вот спешит вечером, когда уже зажгли электричество, и фонари на столбах, как воры, полезли в окна, просвечивая дом насквозь, задержавшаяся где-то блондинка, его соседка, которая громким стуком разбудит стареющую привратницу — та родилась в деревне, но всю жизнь провела в городе, и теперь видела во сне бескрайние луга, журавлиный клин, рассекавший надвое голубое небо, и себя, озорно, будто в детстве, взлетающую на косогор.

Была ранняя весна, снег еще лежал на крышах засиженных голубятен, ютившихся рядом с гаражами, — грязный, растрескавшийся, будто больной проказой. С утра дом оживал, выплевывая жильцов в демисезонных пальто, а ближе к полудню дощатый, грубо струганный стол во дворе, земля под которым была усеяна желтыми папиросными окурками, занимали пьяницы, стучавшие домино. Сажая занозы, они грубо матерились, чокаясь, звякали стаканами, а в распахнутое окно доносились обрывки их разговоров.

— Ты что же, дурья башка, раньше не отдуплился? Теперь нам конец отрубили!

— Я на тебя играл, нечего на меня валить.

— Надо же! Ну всегда-то мерзавец-человек себя оправдает. Да при чем здесь игра, я в принципе. Уж каких гадостей ни творит, до какого свинства ни опускается, а собой доволен! Подлость одна и лицемерие, а совесть, и правда, химера.

— Ладно, уговорил, наливай.

А в другой раз дело не заканчивалось столь мирно.

— Нечего кулаками махать! — доносилось до Саши, когда драка уже утихала. — Думаешь, чего добьешься?

— Не твое дело! Что хочу, то и думаю. У нас свобода совести.

— Свобода есть. А совесть? Запомни, твоя свобода кончается там, где начинается мое лицо!

А потом снова раздавался стук слепых костяшек. За месяц Саша изучил всех завсегдатаев доминошного клуба. Среди них выделялся один, без умолку раздававший советы — едва поднимая фишки, он без игры подсчитывал очки, точно видел расклад насквозь. Его таланты ограничивались домино, пропойца с глазами кролика, он даже температуру на улице измерял градусами алкоголя. По утрам, высунувшись в форточку, он по-собачьи тянул носом воздух и кричал: «Сухое белое!», если погода стояла ясная, зимняя, но не слишком холодная, и — «Красное полусухое!», если было столько же выше нуля, вставало багровое солнце и накрапывал дождь. Около двадцати градусов шел «Яичный ликер!», с тридцати — «Горькая настойка!», потом — «Водка!» или «Ром!». В доме от него все отворачивались, а он, смирившись с судьбой, терпеливо сносил всеобщее презрение, отвечая вымученной, страдальческой улыбкой. Ночами, глядя на звезды, Саша думал, чем он сможет ему помочь, когда выздоровеет, его сердце сжималось от жалости, он перебирал множество рецептов, пока не засыпал, расписавшись в собственном бессилии.

Прошли годы, Саша Гребенча поменял множество мест, все реже возвращаясь в памяти к маленькой квартире на втором этаже с окнами во двор. Дом с засиженными слизняками стенами остался в юности, но теперь интернет-группа, где он поселился, напомнила его. Она так же жила своей жизнью, а ее участники походили на жильцов. Как братья-близнецы, разговаривали Иннокентий Скородум и Сидор Куляш — жадно слушая другого и не понимая себя; припозднившейся блондинкой, будившей привратницу, представлялась ему Ульяна Гроховец, будоражившая своими постами мужское население группы, а Олег Держикрач напоминал угрюмого мужчину, который никак не может завести машину, чтобы отвезти в школу калечного сына.

«Ваша свобода кончается там, где начинается моя!» — читал Саша Гребенча его посты.

«Разве может прикованный к своему телу быть свободным? — вопрошал он. — И разве может осознавший это быть несвободным? Разве может повесить дополнительные вериги?»

«Значит, мы свободны только во сне? — мягко осадил его Олег Держикрач, прицепив смайлик. — Мы там даже летаем».

«Много букв! — накинулась Степанида Пчель. — Это свойственно сумасшедшим».

«Да вы, батенька, р-э-волюционэр! — добивала Аделаида. — Хуже Афанасия Голохвата!»

Укусы, насмешки, пинки. Группа все больше напоминала Саше холодный дом, где собрались случайные люди, которым некуда пойти, некуда деться и которые совершенно не знают, что с этим делать. Его мучили три вопроса: «Что они видят, когда смотрят? Как понимают то, что говорят? И действительно ли верят в то, во что верят?». Он чувствовал себя посторонним наблюдателем, который пришелся не ко двору.

Лифт в подъезде громыхал с утра до ночи, и по громкости стука Саша мог вычислить этаж, на котором он остановился. Первое время он жадно прислушивался, ожидая, что приехали к нему, но потом перестал обращать внимание. Жильцы обходили его квартиру, позвонив в нее только раз — собирая деньги на уборщицу. Однако той весной, когда он свалился с пневмонией, к нему проявили повышенный интерес.

«Чего вылупился! — по вечерам кричали ему собиравшиеся у лавочки подростки. — Или выходи, или скройся».

Они швыряли в окно снежки, а когда напивались, то и бутылки.

Саша Гребенча опускал ставни.

«Как же ты надоел! — кидала в него камень Аделаида. — Сделай одолжение — закрой страницу!»

Саша Гребенча жаловался на спам. А в группе, чтобы не трепать нервы, банил наиболее ретивых гонителей, превращаясь для них в невидимку.

«Куда подевался наш юродивый?» — как слепая искала его Степанида Пчель, раскинув невидимые руки. И Саша Гребенча чувствовал себя бурсаком, очертившим мелом непреодолимой для нее круг. «Вот он!» — вытянет сейчас железный палец Зинаида Пчель, от которой он не прятался. Но его ожидания не сбылись.

«Умер Максим, и хрен с ним!» — отпустила его на все четыре стороны Аделаида.

И это понравилось всем без исключения.

Видя такое отношение, Саша Гребенча снова вспоминал холодный кирпичный дом и теперь все чаще сравнивал себя с тем горьким пропойцей, который измерял температуру за окном градусами алкоголя и терпеливо сносил всеобщее презрение, отвечая вымученной улыбкой.

Вечера были уже холодными, Саша Гребенча ворочал кочергой угли в камине, не выпуская изо рта трубки, так что сизые кольца затягивало в дымоход. Он вспоминал Иннокентия Скородума, жаловавшегося на старость, на отсутствие вдохновения, на свое жалкое окружение, и думал, что тот не понимает жизни. Разве одиночество ужасно? Разве тяготит? Саша вспомнил, как Гребенча-старший рассказывал ему про свой взрослый мир, будто был ему не отцом, а старшим братом, как он слушал, затаив дыхание, и подумал, что не находит общего языка с сыном. Саша посмотрел на фото отца, где тот держал его на коленях, и подумал, что стал уже старше этого улыбчивого мужчины с ребенком, который показался ему теперь младшим братом, так и не повзрослевшим и немного наивным. «Отцы и дети, — почесал он трубкой за ухом. —

ОТЦЫ И ДЕТИ»

Отложив кочергу, Саша Гребенча сел за компьютер.

«Мне ближе отцы, чем дети, — написал он в группе. — Может, я живу прошлым?»

Он не успел встать, как появились комментарии.

«Или так и не выросли», — предположил Олег Держикрач.

«Значит, я тоже, — признался Иннокентий Скородум. — Молодые сегодня говорят, будто на камеру, говорят бесконечно долго, ничего не сказав».

«Зато вы обделывали молчком свои грязные делишки», — в отдельной ветке ответил ему Афанасий Голохват.

«Имейте уважение! — возмутился Иннокентий Скородум. — Я намного вас старше!»

«Старше не значит взрослее Да и кто такие взрослые играют в новые машинки кидают друг в друга грязью Остается удивляться как они умудрились сохранить во всей чистоте и неприкосновенности ум шестилетних детей»

А в Олеге Держикраче проснулся врач.

«Банальные комплексы, — комментировал он слова Иннокентия Скородума. — Несколько сеансов коррекции, и вы обретете свой возраст».

«А зачем? В своих комплексах мне комфортно. Так что оставьте их в покое».

Ответ Иннокентия Скородума понравился Олегу Держикрачу.

«Раньше за слово сажали, потому, что слово не расходилось с делом, — вставил Модэст Одинаров. — А теперь всё видят, всё знают, обо всем говорят, но ничего не меняется!»

«И не поменяется, — согласился Афанасий Голохват. — Надо отстреливать жирных котов которые нами правят да здравствует революция».

«Не помешало бы, — неожиданно поддержал Иннокентий Скородум. — Хотя это и бессмысленно, но чертовски приятно».

Это понравилось Афанасию Голохвату, Даме с @ и Зинаиде Пчель.

И Саша Гребенча не выдержал:

«Как вы можете! Они же люди, и у них есть дети».

«Люди ли?» — засомневалась Дама с @.

«А вы, случаем, не чиновник?» — поинтересовалась Степанида Пчель.

«У них есть деды, — показал зубы Афанасий Голохват. — И внуки и жены и любовницы».

Получив кучу издевательских смайликов, которыми отметился даже Сидор Куляш, Саша Гребенча сник. Он был плохим полемистом, ему было легко сбить дыхание. Яд, содержащийся в словах, парализовал его волю, заставляя думать о невидимом мосте, который может разрушить одна фальшивая нота. «Стеклянная челюсть, — сравнивал он себя с боксером. — У меня стеклянная челюсть».

«Лишь бы правили лучшие, — примирительно написал он. — Лишь бы ценились достоинства».

«Достоинства, — укусил Афанасий Голохват. — А судьи кто нельзя быть таким наивным».

Саша Гребенча вдруг вспомнил последнее свидание с сыном. Они сидели в суши-баре, до хрипоты спорили, при этом сын не вынимал рук из джинсов, напоминая бескрылую птицу. Столик был у окна, и он то и дело вглядывался в проходивших мимо пешеходов, точно ждал кого-то, кто должен зайти.

— Профукали все, — между делом отчитывал он старшее поколение, — проморгали, прочухали, а теперь бедные-несчастные! А нас кто пожалеет? Вы что нам передали? Какой мир? Тот, что получили от дедов? Так нет же, вы, отцы, все инфантильные, вы его ухудшили, испоганили, испохабили. От вас одни стоны, жалобы, нытье…

Саша Гребенча уткнулся в тарелку и, ковыряя перченую рыбу, не мог понять, отчего у него солоно во рту. «От слез, — наконец решил он. — От невыплаканных слез». Подняв глаза, он встретился взглядом с сидящим напротив подростком и подумал, что тому больше подходит роль отца.

— Вот именно, — угадал его мысли сын. — Все вы маменькины детки, слюнтяи-интеллигентишки, ни на что не способные. Привыкли по кухням судачить да в жилетку хныкать… Разве не так?

— Нельзя быть таким жестоким, — вздохнул Саша Гребенча.

Сын был в просвечивающей гипюровой рубашке.

— Что это у тебя? — показал на его плечо Саша Гребенча. — Грязь?

— Татуировка.

«Лучше бы грязь», — подумал Саша Гребенча.

— А как мать?

— Мать? — удивился сын. — Надо же, вспомнил! Когда она была рядом, у тебя была женщина, но у нее не было мужчины. Она тащила обоих, а теперь вы сравнялись, баба с возу — кобыле легче…

— Это ты про меня?

— А про кого еще? Ударить хочешь? Ну ударь! Только ты и на это не способен, как же — интеллигент!

Саша Гребенча слушал и думал, что сын прав, он вдруг понял, почему тот постоянно смотрит в окно и косится на дверь, точно ожидая своего настоящего отца, который сейчас войдет и защитит его от пошлого, грязного мира. Саше Гребенче сделалось неловко, но признать вслух сыновнюю правоту было выше его сил.

— А знаешь, кто такой интеллигент? — снова угадал сын. — Тот, на кого дрочат и кому неудобно за тех, кто это делает.

Отодвинув спиной стул, Саша Гребенча поднялся и, молча расплатившись, поспешно вышел. А теперь при воспоминании об этом он снова покрылся краской стыда. Раскурив трубку, Саша Гребенча закрутился на табурете, точно собирался ввинтить ее в пол, и написал в чат Афанасию Голохвату:

«Дети всегда правы, а отцы всегда никуда не годны, на них природа отдыхает».

Почесав за ухом концом трубки, Саша решил, что этого достаточно для запоздалого извинения: Афанасий Голохват был его сыном, взявшим после развода фамилию матери. Этим и объяснялось его частое появление в совершенно чуждой ему группе, где он чувствовал себя, как в солончаковой пустыне. Незаметно прошла ночь, за окном повисло серое дождливое утро, казалось, что день никогда не наступит, и впереди ожидает лишь продолжение скучного, надоевшего сна. На стене монотонно тикали ходики со свисавшей на цепи гирей, собираясь с силами, в них натужно заскрежетала пружина, чтобы отмерить ударом еще один час Сашиной жизни. Сняв у камина чугунную решетку, Саша ворочал кочергой догоравшие угли, которые изредка вспыхивали синими, лизавшими железо языками, будто яркий день его детства в серой золе воспоминаний.

ВОЙНА И МИР

Один из членов группы не отметился в ней ни единым постом. Он жадно читал ее ленту, равномерно, в зависимости от настроения, распределяя симпатии и антипатии. «Вот языком чешут, а все ж хоть какая-то жизнь». Матвей Галаган был военным. Он подчинялся приказам, умело их отдавал и к своим сорока дослужился до майора. Матвей Галаган был предан долгу, но в последнее время все чаще задавался вопросом, в чем он состоит. «Раньше все было ясно, — думал он, гоняя роту по плацу, — умирали за веру, царя и отечество. А сейчас? Не за деньги же?» В Бога Галаган не верил, царя давно не было, оставалось отечество. «Что это такое? — ломал он голову. — Земля? Вода? Бескрайнее небо? А может, государство?» Но земля и вода были везде одинаковыми, а государство на его веку рушилось, так что он дважды приносил присягу. «А враги? — думал он. — Те, на кого укажут? Мы должны быть готовыми их убивать. А вдруг они завтра станут друзьями?»

— Брось, не думай, — посоветовал ему сослуживец. — А то получается, мы — наемники. Как с этим жить?

— Конечно, — кивнул Матвей Галаган. — Ты абсолютно прав.

А в офицерской комнате, прикрывая ладонью листок, написал рапорт об увольнении. В качестве причины указал ухудшение здоровья, не уточняя, что оно носит психический характер, мучая его смутными сомнениями и безответными вопросами. Сжав бумагу в потной руке, Матвей Галаган долго топтался перед кабинетом полковника, а потом, развернувшись, пошел в казарму, по дороге выбросив бумагу в мусорное ведро. «Деньги проклятые, — глухо бормотал он. — Куда без жалованья?»

В группе Матвей Галаган не вступал в споры, потому что не видел в ней единомышленников, а доказывать что-то людям чуждых убеждений считал делом безнадежным. Как человек строгих правил, клявшийся в верности правительству, он не мог до конца разделить ни революционных настроений Афанасия Голохвата, которым, однако, сочувствовал, ни механического, бесчувственного нигилизма Никиты Мозыря, его раздражала житейская мудрость Иннокентия Скородума, граничившая с вселенской усталостью, он был далек от наивной восторженности Саши Гребенчи. Ему одинаково претили и пессимизм, и оптимизм; считая себя реалистом, он все больше склонялся к жестокой, биологической правде Раскольникова — каждый выживает, как может, а зачем, не знает. Однако каждый вечер он проводил в интернет-группе, его, как наркомана, тянуло в общество незнакомых людей, в кругу которых он оставался тенью. «Плохо, когда в сердце война», — читал он сообщение Саши Гребенчи. «Еще хуже, когда в нем мир», — опускался он к комментарию Афанасия Голохвата. Подняв за козырек фуражку, Матвей Галаган чесал мизинцем затылок, и не знал, кто прав. Как военный, он не терпел неустроенности, но его раздражало и смиренное безразличие, которое наблюдал вокруг. Однажды к вечеру, когда на двор уже опустились сумерки, он заглянул в окно казармы и увидел на койках своих солдат, которые, слюнявя пальцы, листали брошюру «100 способов разбогатеть». До хруста в побелевших суставах Матвей Галаган сжал кулаки, но зайти не решился. Всю ночь он перекручивал простыни, точно его кусали клопы, а на другой день гонял роту на плацу больше обычного. «А все из-за таких, — вспоминал он посты Сидора Куляша, развращавшие, по его мнению, невинных, которые еще не научились жизни. — Сами несчастливы, а других учат». Вечером Матвей Галаган включил телевизор, щелкая пультом, прыгал по каналам, как воробей по кустам, и везде видел довольное лицо Сидора Куляша. «Народ, как птенец: в его раскрытый клюв клади что угодно, — раздраженно подумал он. — А мерзавцы этим пользуются». Повернув стул, Матвей Галаган сел на него верхом, навалившись грудью на изогнутую спинку, и, подключившись к интернету, щелкнул «Мне нравится» под комментарием Дамы с @ к посту Сидора Куляша «Меня от вас тошнит!».

Ранним утром Матвей Галаган доставал из-под матраса брюки, которые за ночь обретали «стрелки», извлекал из пропахшего нафталином, скрипучего шкафа вешалку с кителем, и, надев форму, осматривал себя в зеркале. Повернувшись сначала левым боком, потом правым — порядок из года в год оставался неизменным, — он щелчком сбивал с кителя налипшую пыль, поплевав на пальцы, разглаживал кустистые брови. С первым автобусом он отправлялся в гарнизон. По нему можно было сверять часы. Минута в минуту с подъезжавшим автобусом он стоял на остановке, пропуская вперед пассажиров, которых всех давно изучил. В выражении их лиц, в том сосредоточенном усердии, с которым они разглядывали плывший за окном пейзаж, он угадывал унизительное смирение перед автобусным маршрутом длиной в их жизнь. Пассажиры сходили и заходили, а Матвей Галаган ехал до конечной, постепенно становясь самым старым пассажиром автобуса. Книг он давно не читал, брать в дорогу журналы считал ниже своего достоинства; снова и снова он возвращался к  мыслям, перемалывавшим его, как жернова. Он представлял мрачную фигуру Захара Чичина, которого знал как Раскольникова. «Жизнь — это выживание. И правило в ней одно: с сильными заключить мир, слабым объявить войну». Автобус тормозил с неизменным фырканьем. Пройдя ворота, в которых ему отдавали честь, Матвей Галаган погружался в атмосферу военного городка с незамысловатой архитектурой прямоугольных казарм, колючей проволокой и караулом у развевавшегося флага. «Идти врозь, драться вместе», — учил он, склонившихся над планшетами младших офицеров, а возвращаясь в холодную съемную квартиру, проходил мимо больничного морга и, глядя на тускло светящиеся окна, думал, что и в городе, как на войне, живут порознь, а умирают вместе. «И нет ни правых, ни виноватых, а есть одна человеческая плесень, — вспоминал он опять Раскольникова. — И мира нет, а война постоянна». Поежившись, он поднимал воротник, ускоряя шаг, чтобы быстрее замкнуться в ракушке своего казенного жилища.

Годы летели, будто курица зерно клевала. Матвей Галаган мотался по гарнизонам, не нажив ни кола ни двора. «Судьба такая, — вздыхал он. — У солдата и жизнь казенная». В юности Матвей Галаган легко сходился, куда бы его ни переводили, заводил дружбу с офицерами, но с возрастом совершенно обособился. У него была двоюродная сестра. Они вместе выросли, их отправляли на лето в деревню, где над камышами летали огромные стрекозы и стоял запах свежескошенного сена. Днем они секли прутиками старую злую крапиву, такую кусачую, что от нее не спасали даже сатиновые штаны, а на ночь им читали одни и те же сказки. «По щучьему веленью, по моему хотенью», — слушали они, забившись под одеяло, а за окном плыла багровая луна, и на дворе, казалось, стучит костяной ногой баба-яга. Утром их поили парным молоком, и они, устроившись на сеновале, грызли карандаши, играя в слова.

— Ты умнее, — обиженно кусал он губы, когда побеждала сестра.

— Я старше, — успокаивала она. — На целый год.

Лето их сближало, они перезванивались потом целый год, обмениваясь новостями, школьными впечатлениями и семейной хроникой. В этих разговорах они находили опору. Так продолжалось до тех пор, пока однажды они не обнаружили, что повзрослели. Матвей Галаган поступил в военную академию, сестра вышла замуж, и уже много лет они как-то само собой перестали общаться. «Жизнь развела, — думал Матвей Галаган, когда случалось вспомнить сестру. — Она всех разводит». Превратившись в нелюдимого одиночку, Матвей Галаган и за интернет-группой наблюдал, будто в замочную скважину. «Хорошо, что мы никогда не встретимся», — читал он сообщения незнакомых людей, с которыми у него никогда не возникало желания поделиться мыслями. Он был молчалив, и только выпив в компании холостых офицеров, взявших в руки гитару, подтягивал сиплым, огрубевшим от команд голосом: «Наши жены — пушки заряжены…». Однако в жизни Матвея Галагана был момент, когда он едва не исповедовался. В Страстной четверг он зашел в маленькую часовенку на городской окраине. Служба уже закончилась, и худощавый батюшка с глазами чахоточного проповедовал двум старушкам-прихожанкам.

— Богатым быть хорошо, — тянул он густым басом. — Все тебя любят, все перед тобой заискивают. Ты чувствуешь себя особенным, и пусть в глубине души понимаешь, что причиной всему твои деньги, но гонишь эти мысли. И действительно, какая разница, что на душе у окружающих, раз они этого никогда не покажут? — Поправив рясу, батюшка тронул нагрудный крест. — Да, богатым быть хорошо, все у тебя в друзьях. Кроме одного — Бога.

Он посмотрел в угол, где в темноте жался к стене Матвей Галаган.

— Легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому попасть в сердце ближнего, — запричитали старухи.

Сквозняк колыхнул свечи, их пламя наклонилось в сторону Матвея Галагана, будто указывая на него огненными пальцами. Тот отпрянул и мелко перекрестился.

— А кто станет оплакивать богатого, кроме его банкира? — гудел батюшка. — Богатство ограждает кованой дверью, поселяя в пустыне.

И Матвей Галаган вдруг подумал, что у него никого нет, что на свете он один-одинешенек и, умри завтра, никто не заметит. От жалости к себе у него навернулись слезы, выйдя из тени, он открыл рот, чтобы излить свое одиночество, но вместо этого сказал:

— Святой отец, я шел по жизни, как лунатик — ни о чем не думая, ничего не замечая, и только иногда, оборачиваясь, вдруг с ужасом видел, что шагал часто по карнизу крыши.

— И проходил мимо ближнего, — вставил батюшка. — Мимо тех, кто переживал за тебя, стоя внизу. Разве это тебя не ужасает? Разве это не безумие? Разве не сон?

Батюшка говорил и говорил. Уже не стало четверга, вместо него были гаснувшие свечи, запах ладана и ровный голос, который заполнял все вокруг. Исчезли старухи, Матвея Галагана охватило тоскливо-томительное ожидание, а пятница все не наступала, и, казалось, не наступит никогда.

— А может, я и сейчас сплю?

— Как всегда, — расхохотался священник и ущипнул Матвея Галагана за щеку.

Боль странным образом пронзила все тело, и Матвей Галаган проснулся — за полчаса до того, как должен был звонить будильник. Была пятница, ему предстояла служба, но он встал не сразу, как обычно, а, уткнувшись в подушку, долго кусал губы, перебирая, как четки, свою жизнь.

С женщинами Матвей Галаган сходился трудно, а расставался легко. Его всегда бросали первыми, не утруждая себя объяснениями. И только в пору его юности одна дама, собирая чемоданы, бросила: «Кто родился сычом, не умрет вороной». Тогда Матвей Галаган обиделся, а теперь был даже рад, что она ушла и он не потратил годы на развод, в котором не сомневался. Впрочем, отношения с женщинами давно стали для Матвея Галагана вопросом академическим, он наблюдал за ними не больше, чем за птицами, тянувшимися на юг. По праздникам в гарнизонном клубе собирались офицерские жены, помыкавшие за столом мужьями, так что армейские командиры на глазах превращались в подчиненных. Матвей Галаган видел сухо поджатые губы, улыбки, существовавшие отдельно от лиц, слышал нервный смех и всем существом ощущал наэлектризованную атмосферу, будто в пространстве между разноименными зарядами. «Тебе хватит, ты и так перебрал, — доносилось до него. — Никакого бильярда, можно хоть в праздник побыть с женой!» Это была цена семейной крепости, которую Матвей Галаган не хотел платить.

— Семья — не армия, на одной дисциплине не удержится, — разводили руками сослуживцы, пряча смущенные улыбки.

— Да уж вижу, ваши жены — пушки заряжены, — дружески хлопал он их по плечу, и думал, что мир — тюрьма, в которой заключают либо в одиночку, либо в камеру на двоих. В такие минуты он опять перебирал женщин, с которыми мог провести жизнь, и был рад, что не остановился ни на одной. И все же вечерами Матвей Галаган подолгу рассматривал аватару с молодой смеющейся женщиной, со стрижкой каре. У нее светились ровные красивые зубы, а ямочки на щеках были такими глубокими, что казались еще одной парой глаз. Матвей Галаган был неравнодушен к Ульяне Гроховец. На фоне его тусклого однообразия она представлялась ему богиней, парящей в неведомых далях, он безоговорочно верил ее приключению с мулатом на тропических островах, ее жизнерадостности, проступавшей в каждом посте, и ему не приходила мысль, что такой женщине, которую нарисовало его воображение, незачем посещать интернет-группу. Завязать знакомство Матвей Галаган даже не пытался. Несколько раз он, правда, порывался написать ей отдельно в чат, но, вспоминая свой возраст и скудное жалование, так и не решился.

«Все терпят, все подчиняются. До тех пор, пока внутри не просыпается человек. Тогда всё посылают к чертовой бабушке, кардинально меняя жизнь. Может, ваш час пробил?»

Матвей Галаган часто перечитывал этот пост Ульяны Гроховец, адресованный Модесту Одинарову, и примерял на себя.

«Откуда столько сил? — недоумевал он, вглядываясь в ее упрямую челку. — Откуда столько решительности?» Как слепой крот, Матвей Галаган уловил любовные сигналы в постах Ульяны Гроховец, и клюнул на них, хотя они предназначались другому. Но продолжал жить, как в стеклянном шарике, который катил неизвестно куда, неизвестно кто и неизвестно зачем.

«А ведь Раскольников был прав, наш общий удел — забвение, и потому жить можно как угодно, — словно отвечая его мыслям, написал в группе Иннокентий Скородум. — С особенной ясностью это понимаешь на сельском кладбище с заброшенными могилами, покосившимися крестами и полустертыми надписями на надгробиях. Никогда мы не узнаем, был ли какой-нибудь Лавр Тимофеевич Жидкостняк, умерший 13 мая 1879 года, прекрасным человеком или законченным негодяем. Да и какая нам разница?»

«Потому и нужен высший Суд! — категорично ответил Саша Гребенча. — Нужен, даже если его нет».

Его ответ в группе все проигнорировали.

«А что мы вообще знаем? — подключился Никита Мозырь. — Чем этот ваш Жидкостняк отличается от Наполеона? Уж казалось бы, кто его известнее? А кто он был на самом деле, Наполеон-то? Как оценить его? Как судить?»

«Редкостный мерзавец был ваш Наполеон», — поставил точку Афанасий Голохват.

Полина Траговец читала эти строки и думала, что все зависит от случая. Сложись иначе, никто бы и не узнал маленького французского капрала. А сколько наполеонов сгинули в семейных баталиях, не явив своего гения? «Попади он на мое место», — вспоминала Полина свою мать, и ее жизнь опять представлялась ей сломанным зонтиком, заброшенным на чердак.

«Делать вам нечего, — приписала Ульяна Гроховец. — Вокруг столько всего, а вы перебираете могильные кости. Уж лучше бы живым их перемывали!»

В отпуск Матвей Галаган никуда не ездил. Он выходил во двор с какой-нибудь книгой по военной истории, читал ее, сидя на лавочке, а в перерыве, если день был погожим, положив свои большие руки на симметрично выставленные колени, замирал в наивной позе египетской статуи и, задрав голову, смотрел ввысь. Он думал тогда, что на свете нет ничего, кроме синего бескрайнего неба, и эти мысли совершенно его умиротворяли, погружая в какой-то необыкновенный вселенский покой. «Зависть, тщеславие, корысть… — думал он. — Как все это мелко, как ничтожно в сравнении с необъятным простором. Но как вынести этот бесконечный размах? Убери нашу мышиную возню, наши жалкие страстишки, дай себе смелость взглянуть на мир беспристрастно, не зашореными глазами, и быстро сойдешь с ума. Выходит, наша глупость страхует от безумия?»

— Бесконечное синее небо, — как-то, задумавшись, произнес он вслух, не заметив опустившегося рядом старика с раскосыми глазами.

— Вечно синее небо, — в унисон вздохнул тот, поглаживая редкую бороду. — О, Тэнгри! О, Вечно Синее Небо! Где мои степные бахадуры? Где их застилавшие солнце стрелы, где их трепещущие на ветру бунчуки? О, Тэнгри! Когда-то я набирал среди кочевий людей длинной воли, чтобы резвыми скакунами вытоптать мир, как траву, и за это меня прозвали Потрясателем Вселенной. Я учил, что жизнь одного бесстрашного стоит тысячи жизней трусов! Мои богатыри были как серые кречеты, — теперь их кости клюют вороны, а их кривые сабли ржавеют — но не оттого, что насытились кровью. О, Тэнгри! Ты прибрало и друзей, и врагов, зачем же оставило меня бродить среди людей, чтобы дети смеялись над моей седой бородой?

— Сегодня все сводится к выгоде, а со старика что взять? Поэтому до смерти редко доживают, умирая прежде от одиночества…

Матвей Галаган хотел что-то добавить, повернувшись к незнакомцу, но тут очнулся — он был один, а на коленях у него лежала книга про завоевательные походы Чингисхана.

С годами Матвей Галаган все чаще задумывался о своей судьбе, о том, почему стал военным, гадая, имел ли к этому призвание, или цепь случайных обстоятельств, выстроившись непостижимым, таинственным образом, привела его в казармы.

— Какой из меня солдат, ать-два, и точка, — однажды пожаловался он в компании штатских. — И войны нет, чтобы храбрость свою проверить.

— Ну, это ты брось, — поправили его. — В жизни всегда есть место подвигу.

С тех он стал искать опасности. Возвращаясь со службы, выбирал самые темные переулки, по дороге забредая в сомнительные заведения. Однако все было спокойно, разве что пьяные горланили непристойные песни, предлагая выпить.

— Ищешь приключения на свою голову? — быстро урезонивал он их.

— Что ты, командир, похоже, нашел, — вытягивались перед ним. — Разрешите идти?

Смеркалось. Шел дождь. В глухой подворотне он ступал в клокочущие лужи, измазав сапоги до самого верха. У кирпичной стены, позеленевшей от слизняков, трое прижали одного. В свете горевшего окна сверкнули ножи. От неожиданности он отступил в тень. Троица разом повернулась, будто написанная на одной иконе. Небритые скуластые лица, зло выпученные глаза над горбатыми мясистыми носами. Щеку одного уродовал косой шрам.

— Иды, иды, это наши дэла, — сказал он с восточным акцентом.

— Нэ мешай, — посоветовал другой.

— Иначе зарэжим, — пригрозил третий.

Сапоги стали жать. Китель наполнился потом. Ноги готовы были развернуть его на сто восемьдесят градусов. Но он, стиснув зубы, выступил вперед. На его лице заиграли желваки.

— Военный! — разглядев на свету форму, завизжал мужчина со шрамом.

— У него рэволвэр! — подхватил другой.

— Побежали! — выкрикнул на ходу третий.

Вместе с троицей исчезла и жертва. Уткнувшись в стену, он стоял под дождем и трясущимися руками не мог достать платок, чтобы вытереть вспотевшую шею.

Был вечер, тускло мерцал экран, на котором, как муравьи, чернели буквы. «С тех пор он стал искать опасности, — перечитывал свое сочинение Матвей Галаган. — Возвращаясь со службы, выбирал самые темные переулки…» Дойдя до конца, он усмехнулся. Потом закрыл редакторское приложение, и в меню «Сохранить документ» щелкнул «Нет».

Так бы все и шло — зиму сменяло лето, а дни тянулись журавлиной стаей — но судьба — опытный шулер, и в рукаве у нее всегда спрятан джокер. Однажды погожим осенним вечером Матвей Галаган изменил своей привычке, проверив почтовый ящик, у которого от редкого пользования заржавел замок, и был крайне удивлен, обнаружив вместе с рекламой и счетами за квартиру повестку из адвокатской конторы. Он долго крутил в руках распечатанный пакет и не мог понять, зачем его вызвали.

— Умерла ваша родственница, — сообщили ему, едва он переступил порог.

— Сестра? — ахнул он.

— Нет, дальняя, вы про нее могли и не слышать.

— И что?

— А то, что она была состоятельной и вы с сестрой единственные наследники. Вашу сестру мы нашли быстро, а вас еле разыскали.

— Надо же, — пробормотал Матвей Галаган, — прямо по щучьему веленью. И о какой сумме идет речь?

— О-о!

БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ

Матвей Галаган учащенно задышал.

— И я могу их получить?

— Не сейчас. Заходите через неделю, мы все оформим.

Из конторы Матвей Галаган вышел другим человеком. Тысячи мыслей крутились у него, он думал, как поедет за границу, будет играть в казино и знакомиться с красивыми женщинами, которым не придется отдавать всего себя, откупаясь дорогими подарками, а дома, сняв армейскую форму, он впервые, вместо того чтобы аккуратно повесить в нафталинный шкаф, швырнул на стул. Растянувшись на постели, он представлял, как подаст завтра рапорт, как удивятся сослуживцы, напоминая, что ему осталось всего ничего до пенсии, а потом он закатит пирушку в офицерской столовой, и его будут с завистью хлопать по плечу, обнимать и целовать в десны. Но уже к ночи ход его мыслей изменился. «Появились штаны, когда не стало зада, — думал он. — И почему все приходит с опозданием?» Ему уже не хотелось в дальние страны, где говорят на непонятном языке, и где он будет так же одинок. Засыпая, Галаган подумал, что завтра надо встать раньше, чтобы успеть погладить мятую форму, в которой проходит до пенсии.

На службе Галаган решил пока молчать, однако не удержался.

— А что бы ты сделал, получи уйму денег? — спросил он того самого сослуживца, с которым раньше делился сомнениями насчет их профессии. Был вечер, они стояли на автобусной остановке у гарнизона, собираясь ехать каждый в свою сторону.

— Не знаю. С деньгами родиться надо, привыкнуть.

— Ну, можно на благое дело пустить.

— Эт точно, сегодня деньги любого из небытия поднимут. А как отличить дело-то? Беда в том, что у тех, кто их имеет, больше за душой ничего нет. — Взмахнув рукой, он отогнал комара. — Получается, возможности у тех, кто сам — ноль, а способные на многое их лишены.

— А все же — что бы ты с деньгами сделал?

— Черт его знает. Опасная они вещь. Помню, был у меня сосед, выиграл раз в лотерею сумасшедшие деньги. И раньше сычом жил, ни жены, ни детей, а теперь совсем обособился, здороваться и то перестал. Родители мои говорили — надо же, свезло кому не надо, столько вокруг нуждаются. Только свезло ли? Так, может, и доковылял бы до старости, а тут стал на всех коситься, подозревать, что ограбят. Деньги свои он в перину зашил, об этом все знали, вот и спал на них и днем, и ночью. Постепенно страх окончательно его сковал, так что он уже не выходил из дома, отбрасывая на улицу лишь тень, когда, облокотившись о косяк, курил в дверном проеме. А кончилось печально. Случился у него дома пожар, так его еле вытащили, чуть не сгорел, цепляясь за перину. И с тех пор умом тронулся, все бубнил, что его подожгли…

Матвей Галаган помрачнел.

— Да не бери в голову, — снова отогнав комара, рассмеялся сослуживец. — Эту выдумку мне бабка рассказывала, бессребреника воспитать хотела. А ты, однако, доверчивый!

Матвей Галаган обиделся.

— А зачем врать?

— Виноват, исправлюсь! — взял под козырек сослуживец. — Ну, ты ж пристал с деньгами, не отвязаться. Одно скажу: когда в кармане звенит, это еще не значит, что в душе звонко. Кстати, больше не думаешь профессию менять?

— Думаю.

— А зря. На старости-то лет.

— Лучше поздно… А в будущем наше дело все равно отомрет, все эти наполеоны, не наигравшиеся в солдатиков, слишком дорого обходятся человечеству.

Сослуживец расхохотался.

— И ты веришь, что оно поумнеет?! Впрочем, что с тебя взять, ты и моей сказке поверил. Нет, Матвей, наша профессия всегда в цене останется: языков много, договариваться не умеют, а наш самый простой. — Он прибил ладонями комара. — Вот теперь он меня понял! А сколько ни тверди: «Не соси мою кровь!», не дойдет. — Прощаясь, он протянул руку с убитым комаром. — Ну, до завтра, мой автобус.

Сослуживца ждала семья.

Оставшись один, Матвей Галаган вспомнил про свалившиеся деньги и подумал, что в этом есть высшая справедливость. Разве напрасно он столько мотался по гарнизонам? Даром, что ли, терпел эту собачью жизнь? Он опять стал мечтать, как ими распорядится, как, набравшись храбрости, напишет Ульяне Гроховец, ведь деньги списывают возраст, делая всех ровесниками.

Всю неделю Матвей Галаган посматривал на всех с тайным превосходством. Он меньше гонял солдат на плацу, закрывая глаза на провинности, простив им желание разбогатеть.

Полковник вызвал его за дубовую дверь.

— Садись, майор. Тут такое дело — осенний набор на носу, ну, в общем, ты понял…

Полковник был толстый, он задыхался, и у него не хватало слов.

— Надо проинспектировать призывные пункты, — закончил за него Матвей Галаган, подумав, что опять выбрали его, будто нет офицеров моложе.

— Точно. Проверишь призывников, списки там… Короче, ты понял…

— Когда прикажете ехать?

— Через неделю.

— Есть! — поднялся Матвей Галаган. — Машину выделите?

Полковник тоже поднялся, покраснев от натуги.

— Тут это… как раз генерал из Москвы прилетает — встретить надо, эскорт и все такое…

— Короче, своим ходом?

— Ну ты понял.

«Жирный боров! — закричал про себя Матвей Галаган, прикрывая тяжелую дверь. — Вот получу деньги и пошлю тебя далеко и надолго!»

До конца дня он ходил, готовый сорваться по любому поводу, бросить все, не дожидаясь наследства, но к вечеру остыл. В конце концов, он не первый раз ездит с подобными поручениями, у него есть опыт, может и правильно, что выбрали его? Ничего не случится, успокаивал он себя, даже лучше сменить обстановку, отвлечься от гарнизонной рутины. Матвей Галаган представил новые лица, молодых ребят, которые напомнят ему время, когда он был курсантом, офицеров на призывных пунктах, стоящих навытяжку перед инспектором, и добродушно улыбнулся. Дома он приготовил чай, выпил два стакана, уже со смехом вспоминая жирного полковника, и снова вернулся к приятным мыслям о том, как сможет распорядиться деньгами. Он подумывал тайно перевести деньги сослуживцу, с которым ждал вместе автобус, но решил, что после их разговора тот непременно обо всем догадается. А Матвей Галаган не хотел огласки. «Завидовать будут, — развалившись в кресле, думал он. — А черная зависть порчу наводит». И, расхохотавшись, постучал по деревянному подлокотнику: «Совсем обезумел, я же, тьфу-тьфу, не суеверный». Отвернувшись, он долго смотрел в окно, за которым уже плыли вечерние сумерки, загонявшие в подъезд припозднившихся жильцов, а когда залез в интернет, подумал вдруг стать тайным благодетелем. «Переведу деньги в группу, пусть делают что хотят». Он пожалел, что опоздал и уже не сможет выкупить у Раскольникова голову Авеля, не сможет помочь Модесту Одинарову, которому сочувствовал, потому что тот был одинок, как и он сам. В то, что Модест Одинаров жив, Матвей Галаган не верил, посчитав перемену его ника дурным знаком. Незаметно для себя он пробежал глазами пост Афанасия Голохвата:

«Жить перед революцией как весной когда сам воздух пьянит Кто не испытал этого в юности, тот не поймет А кто пережил, но не понял тому лучше и не родится Революция Пусть в котле ее страстей сгорят мечты надежды грандиозные планы пусть истлеют они углями разочарования усталости и обмана И пусть потом восторжествуют убогая расчетливость старческое брюзжание и житейская мораль пусть опять все поглотят страх лицемерие и скука Но были же мгновенья счастья»

Матвей Галаган откинулся в кресле. «Дать ему, что ли, на революцию?» Он закрыл глаза, и ему было приятно ощущать свое могущество, будто нашедшему бутылку с джином.

«Счастье? — писал Афанасию Голохвату Иннокентий Скородум. — Что такое счастье? Природа его не знает, эта категория слишком человеческая».

«А по-моему, все просто, — подключилась Ульяна Гроховец. — Счастлив, кто не замечает ада вокруг».

«Почему “ада”? Кто не замечает ничего вокруг», — уточнил Иннокентий Скородум.

Это понравилось Модэсту Одинарову и Зинаиде Пчель.

Матвею Галагану захотелось вступиться за Ульяну Гроховец, к тому же он неожиданно обиделся, приняв замечание на свой счет. «Ложь! — вспыхнул он, поняв, что прожил с широко закрытыми глазами. — Слепота не дает счастья!» Ему уже расхотелось делиться деньгами, теперь он решил, когда получит, тратить их на себя, а пока не носиться с ними как с писаной торбой. В приступе решимости он, подражая молодежному сленгу, написал Ульяне Гроховец в чат:

«Привет! Не бери в голову, ты крутая девчонка, а они лузеры. Давай знакомиться: Матвей, твой давний поклонник. Как насчет островов? Я, конечно, не мулат, но, может, и к лучшему? По-моему, тебе пора отдохнуть от всех этих занудливых модэстов одинаровых. Ехать предлагаю вскладчину: мои расходы, твое обаяние. Так мне бронировать гостиницу?»

Помедлив, Матвей Галаган прикнопил смайлик и нажал «Отправить».

Выйдя из Сети, он задрал матрас, аккуратно разложив брюки, разгладил их руками, повесил рубашку на спинку стула, и уткнулся в подушку.

«А как там сестра? — засыпая, подумал он и пожалел, что не спросил у адвокатов ее адрес. — В следующий раз узнаю». Он вспоминал, что считал сестру умнее себя, и улыбнулся.

Полина Траговец к этому времени уже завела от одиночества кошку, с которой вечерами гуляла по бульвару, и, когда та вспугивала голубей с грязными клювами, вспоминала Модеста Одинарова. Получив приглашение Матвея Галагана, она растерялась. «Почему все приходит с опозданием? — кусала она губы, глядя на свою аватару с улыбавшейся брюнеткой. — Ну зачем, зачем я врала?» Вначале она хотела проигнорировать письмо Матвея Галагана, но посчитала это чересчур жестоким.

«Заманчивое предложение, — отстучала она на другой день. — Но я не нарушаю правил дорожного движения, а на личные встречи в группе висит запретительный знак. Когда припаркуюсь в другом месте, напишу обязательно, надеюсь, все останется в силе».

Написав Ульяне Гроховец, Матвей Галаган испугался своей решительности. А вдруг примет приглашение? Придется тащиться черт-те куда. Он уже жалел о своем предложении, воображая незнакомую женщину со своими привычками, капризами и представлениями, под которые придется подстраиваться. Так что, получив отказ, Матвей Галаган с облегчением вздохнул. Он был доволен тем, что преодолел себя. «А все же хорошо, что мы не увидимся», — опять подумалось ему про членов группы с их ни к чему не обязывающими отношениями. Из всей группы он хотел встретиться лишь с Раскольниковым, в котором видел родственную душу и с которым, как ему казалось, нашел бы общий язык. Но Раскольникова исключили из группы, и он больше не напоминал о себе.

Дома Матвей Галаган убеждал себя, что деньги ничего в его жизни не поменяют, и думал служить до пенсии, а в гарнизоне считал дни до того, как пойдет в контору. «Странно, — глядел он на своих солдат, — разбогатеть мечтали они, а деньги свалились мне. Какой в этом смысл?» Домой идти не хотелось, и сразу за воротами военного городка Матвей Галаган зашел в бистро со «стоячими» столиками. Он глядел на высокий длинный забор с колючей проволокой. «Деньги — это свобода. Молодым ее не вынести, потому что свобода — это пустота со страхом пустоты, это ответственность перед собой, а значит одиночество». Вспомнив сестру, Матвей Галаган стал гадать, замужем ли она до сих пор, и как отнесется к нему, если он вдруг нагрянет, поселившись где-нибудь поблизости. С этими мыслями он быстро набрался, так что, обводя мутным взглядом пассажиров в автобусе, не узнавал никого. Лестница в подъезде показалась ему бесконечной, будто вела в небо. Карябая ключом замочную скважину, Матвей Галаган подумал, что и сам сошел с ума от одиночества, и в прихожей покрутил себе в зеркале у виска. «С деньгами примет», — подумал он про сестру и, усмехнувшись, почувствовал себя, как в армии, когда появился план, следование которому избавляет от всех сомнений. Он решил больше не тянуть и пойти в контору завтра. Повернувшись на бок, Матвей Галаган заснул сном праведника, так что соседям пришлось заткнуть уши от его храпа.

Возможно, так бы все случилось, как он предполагал, но судьба — опытный шулер, и джокеров в рукаве у нее всегда два. К этому времени сестра Матвея Галагана овдовела, оставшись с ребенком на руках, и остро нуждалась в деньгах. Брата она давно вычеркнула из своей жизни, а если и вспоминала, то со злостью: «Тоже мне, родственничек, умру, не узнает». Ей казалось несправедливым, что он не помогает племяннику, и то, что Матвей Галаган не знал о его существовании, в ее глазах не извиняло брата.

— Небось, в генералы метит, — жаловалась она подруге, когда пришло известие о наследстве. — Что он, страдал, как я? Мыкался с ребенком по углам? С какой стати ему половина?

Сестра так и осталась умнее, быстро сообразив, что наследство, разделенное на двоих, уменьшится для нее ровно на половину.

— Сама с детьми, как муж ушел, — вздохнула подруга. — Алименты, правда, хорошие, но отца ж не заменят.

Они сидели за столом с грязной скатертью, и подруга возила по ней хлебные крошки. Пораженная пришедшей мыслью, сестра Матвея Галагана схватила ее за руку.

— Слушай, а твой бывший по-прежнему промышляет? Помнится, ты говорила…

— Мало ли, что я говорила!

Они замолчали, глядя друг другу в глаза, в которых было все, кроме смирения.

— Может, все-таки напишешь? — не выдержала сестра Матвея Галагана, не отпуская руки.

Подруга сощурилась:

— А что мне с этого?

— Что я, дура? Не обижу. Там на всех хватит.

И опять они уставились друг на друга, не мигая, точно ящерицы в раскаленной пустыне — одинокие и злые.

— Хорошо, напишу. Время не терпит?

— Чем быстрее, тем лучше.

Сестра Матвея Галагана знала один из его старых адресов, и ей казалось, что разыскать брата вперед адвокатов не составит труда.

Вечер в гарнизонном городке выдался скверным, но дождь уже сходил на нет, тихо потрескивая за окном, как масло на сковородке, и его заглушало назойливое, пронзительное стрекотание сверчка, точно грозившего от одиночества выкинуть какую-нибудь злую шутку — подточить деревянную стену у дома или надрывным плачем свести с ума его обитателей. Матвей Галаган дважды выходил за дверь, впотьмах шаркал сапогом по мокрой траве, от которой пахло свежестью, переносившей в детство с деревенским скошенным сеном, давил ее наугад каблуком, но сверчка, тут же замолкавшего, не нашел.

Матвей Галаган сплюнул и, усмехнувшись, подумал, что военный из него никудышный, раз он не может справиться с таким ничтожным противником, потом с ужасом представил, что было бы, если бы он женился, раз даже насекомое заставляет его смириться со своими воплями. На мгновенье ему стало жаль себя, он мысленно сравнил себя с обреченным мокнуть под дождем кустом смородины, который не может уйти со двора. Потоптавшись, Матвей Галаган снова сплюнул. Но ничего, возможно, завтра все кончится — и служба, и бесконечное глаженье брюк, он получит деньги и, не прощаясь, уедет в жаркие страны, где море выносит на отмель расплавленных медуз, а ветер ввинчивает в пляж белый песок, он будет сидеть в полосатом шезлонге под бескрайним, вечно синим небом и считать удары собственного сердца. Галаган дал себе слово держать дверь в своем будущем доме всегда открытой, а при входе повесить на гвозде подкову — на счастье. Осталось совсем немного, можно потерпеть, смирившись с промозглой погодой, шалым ветром и надоедливым сверчком.

Вернувшись в дом, Матвей Галаган смотрел в темный угол и снова представлял сестру. «А ты не изменилась, — скажет он, опустив на пороге чемодан. — Разве еще больше поумнела». — «Да уж конечно, служи я в армии, давно бы стала генералом», — ответит она, будто рассталась с ним только вчера. Улыбаясь, Матвей Галаган смотрел в угол с повисшей паутиной и не видел там женщин, застывших напротив друг друга, как пара мамб.

Было солнечно, когда Матвей Галаган вышел из дома, направляясь в адвокатскую контору. Он легко перепрыгнул через ступеньки, и его взгляд равнодушно скользнул по небритому мужчине, одиноко щурившемуся на лавочке. Матвей Галаган опять вспомнил о предстоявшей инспекции призывных пунктов и решил после нее уйти в отпуск. «Отказать не посмеет, — подумал он про толстого полковника с бедным лексиконом. — Возьму пару недель — и к сестре, как снег на голову». Бумаги были уже готовы, он пробыл в конторе не больше часа, подписывая бесчисленные экземпляры, принимая поздравления, которые сопровождали льстивые улыбки.

— Адрес сестры дадите? — попросил он на прощанье.

— Хотите разделить радость? Дадим, конечно, что за вопрос. И телефон.

Мечты наконец обрели реальность, и за дверью Матвей Галаган уже твердо решил не возвращаться на службу, а сразу поехать к сестре. «Как снег на голову», — улыбнувшись, повторил он, нащупывая в кармане бумажку с ее адресом. Перед ним открывался весь мир, и теперь он не мог понять, как прожил свои сорок два года, точно на войне, ставя себе задачу выстоять, продержаться — день, месяц, год… Прежде чем перешагнуть ступеньки, Матвей Галаган вздохнул полной грудью, оглядевшись по сторонам. В лужах, после вчерашнего дождя собравшихся в бороздах от грузовиков, играло солнце, на примятой траве поблескивала роса, а в кустах беспечно чирикали воробьи. В этот утренний час на улице было пустынно, только на лавочке по-прежнему щурился небритый мужчина. Мир тесен, это был Захар Чичин, которого Матвей Галаган знал как Раскольникова.

КАМЕРА ОБСКУРА

Исчезновение Матвея Галагана в интернет-группе никто не заметил. Как не замечали его присутствия. Как никто, кроме Олега Держикрача, не заметил, что ей исполнилось уже полгода — для виртуальных сообществ возраст немалый. «А что мы узнали друг о друге? — думал Олег Держикрач. — Ник? Аватару?» Группа, как поезд дальнего следования, в который по дороге заходят пассажиры, чтобы потом уступить место следующим, жила своей жизнью, продвигаясь вперед. Куда? Этого не знали сменявшиеся машинисты-модераторы, не знали ее члены, этого не знал никто. За полгода Олег Держикрач еще больше согнулся, вернувшись в больницу, все также ходил по длинным коридорам, раскланиваясь с медсестрами, а в палатах навещал новых пациентов. Но он стал мягче, сдержаннее, вспоминая Никиту Мозыря, случалось, не к месту улыбался, а уходя, поправлял на постели больного одеяло: «Все будет хорошо, голубчик, не отчаивайтесь».

Заходя в группу, он все больше убеждался в бессмысленности своей затеи объединить в ней случайных людей, от отчаяния ему даже хотелось уничтожить ее, и он жалел, что передал это право Степаниде Пчель. «Пустое времяпрепровождение, — проклиная себя, плевался он, видя одни и те же унылые посты, за которыми читалась усталость и раздражение. — Так и депрессию можно заработать» И однажды он приказал себе, наконец, отойти от интернетовского угара, и улыбнулся, сравнив свое решение с воскресением. С тех пор Олег Держикрач в группе больше не появлялся. За него это делала жена. Для Веры Павловны увлечение мужа давно не было тайной, догадавшись о существовании группы, она по истории его интернетовских путешествий, которую Олег Держикрач забывал чистить, давно вычислила ее адрес. Вначале она только читала его сообщения, оправдывая свое любопытство желанием лучше узнать любимого человека, но потом увлеклась настолько, что завела собственный профиль. Однако к этому времени Олег Держикрач уже забросил свое детище, и она все чаще пользовалась его именем. Так что исчезновения Олега Держикрача в группе никто не заметил, как и смерти Модеста Одинарова и Матвея Галагана. Вера Павловна искусно скрывала новое увлечение, однако все тайное рано или поздно становится явным. Раз, сматывая в прихожей длинный шарф, Олег Держикрач застал жену за компьютером. Дальнозоркость с возрастом развилась у него еще сильнее, и он понял, что она посещает созданную им группу. Увидев мужа, Вера Павловна покраснела и быстро закрыла сайт. Но Олег Держикрач не думал сердиться.

— Это хорошо, что ты знаешь. — Он поправил свисавший с полки шарф. — Давно хотел поделиться.

— Прости, дорогой, — оторвавшись от компьютера, обняла его жена. — Я очень тебя люблю.

Олег Держикрач улыбнулся:

— Любопытная моя кошечка, говорю же, я рад, что так вышло. Ужин готов?

— Рыба и твой любимый рис.

— Отлично. Так чего мы ждем?

На кухню они так и прошли в обнимку. За столом он вернулся к разговору, выстреливая словами, точно расплачивался ими за каждое рисовое зерно:

— Значит, ты уже со всеми познакомилась. И как они тебе?

Вера Павловна пожала плечами:

— Обыкновенные, со своими слабостями и пороками.

— А откуда нам знать их пороки? Дорогая, мы видим их роли, а играть в интернете проще, чем в жизни. Вот Никита Мозырь производит впечатление здравомыслящего, но он шизофреник. А писатель этот, Иннокентий Скородум? Разве свое место занимает? У него бедная фантазия, а он вынужден сочинять романы. Или Сидор Куляш. Зачем так упорно подчеркивать свою состоятельность? Кто он на самом деле? А Ульяна Гроховец, которая строит из себя бог знает кого? Или Раскольников? Может, это прыщавый золотушный подросток? Посмотри, как они непоследовательны, сегодня пишут одно, завтра другое. Точно под одним ником разные люди. Впрочем, мы все не те, за кого себя выдаем… — Он на секунду замолчал, ковыряя вилкой рыбу. — Знаешь, в последнее время, я все меньше вызываю у себя уважение. Пациентам я уверенно ставлю диагнозы, прописываю лекарства, но чужая душа для меня такие же потемки, как и своя…

Вера Павловна испуганно смотрела на мужа.

— Нет, дорогая, не бойся, это не безумие, наоборот, я все вижу отчетливо, вижу насквозь, вижу, что ничего не вижу.

— Ну что ты, что ты… Ты же такой тонкий, глубокий…

— Скажи еще образованный. В университете нас учат, как все устроено. А потом понимаешь, что устроено все не так. И зачем изучать неправильное устройство? А может, лучше на базаре торговать? Может, это как раз мое? А теперь вот приходится профессорское звание оправдывать, перед собой притворяться.

Отложив вилку, Вера Павловна поднялась, став вровень с сидящим мужем, и прижала к груди его голову. У Олега Держикрача навернулись слезы.

— И группа эта, как камера обскура, в ней все перевернуто, все фальшиво...

— Откуда мы знаем? Сам же говоришь, ничего про них неизвестно. Так лучше принимать их такими, какие есть. И слова, и поступки… К тому же, благодаря группе Ульяна Гроховец и Модэст Одинаров обрели свое счастье. Это же мы твердо знаем. Так и вижу этих голубков, обнимающихся у компьютера!

— Не хватало быть еще сводней.

— Ну, зачем так. И к чему обязательно подозревать худшее? Вот же эти едкие сестры Пчель, эти интернетовские фурии, живут, мы знаем, дружной семьей, с единственным компьютером на троих. Как представлю их идиллию, мне легче делается. В провинции нет нашей отчужденности, обособленности.

— А вдруг это один человек?

— Нет, невозможно быть таким озлобленным, да и одиночества такого никто не вынесет. К чему твои чудовищные предположения? Надо быть доверчивее.

— Как Саша Гребенча?

— А что Саша Гребенча? Светлая личность, наверняка прекрасный муж и отец. Узнав о таких, жить хочется. Так и потомки прочитают наши признания и подумают: «А они были совсем не глупы, и мучились, как мы, и страдали. И не так станет им одиноко на свете белом.

— Да наплевать им будет на нас! — отстранился Олег Держикрач. — Много мы об ушедших думаем? Много о них знаем? При Пушкине, к примеру, туалетной бумаги не было, он подтирался бог знает чем, и той же рукой выводил про Онегина. Как нам это вообразить? Другие люди! А что поймут из нашей переписки, если мы сами в ней мало, что разбираем.

Олег Держикрач поднялся, взяв за руку, подвел жену к компьютеру.

— Вот, посмотри на этот чат посторонними глазами:

Ульяна Гроховец:

«А что думает Модест Одинаров?»

Модест Одинаров:

«У начальника заболела секретарша, и в обеденный перерыв он, не отрываясь от бумаг, бросил: “Сварите кофе, дружище”. А он вдвое моложе! И почему я не плеснул ему кофе в лицо? Боюсь сорваться. Может, взять отпуск?»

Раскольников:

«Правильно, что сдержался. Лучше его в подъезде замочить. Научить как?»

— Представляю, как шарахнулся этот Одинаров! — сказала Вера Павловна.

— А тебе не кажется, что он выдумал всю эту галиматью? Как и случай с собачником?

— А зачем?

— Может, хотел доказать, что не трус, что еще не окончательно утратил чувство собственного достоинства? А как это сделать — только в интернет-группе.

— Все равно мне он неприятен. Уж больно расчетливый. Мне нравятся способные на ошибку.

— Как я? Но давай посмотрим, как язвит Никита Мозырь:

«Будь проклята эпоха Просвещения! Хочу обратно в феодализм! Лучше бояться Отца-Создателя, чем холодной, бездушной бездны! Хочу, чтобы Земля была в центре мироздания, а душа была бессмертна! И какая мне разница, как обстоит все на самом деле? Это ученые произошли от обезьяны, а я своего Отца знаю!»

— А он язвит? — спросила жена.

— Конечно. В больнице он не упускал случая демонстрировать безбожие. А вот это, посмотри.

Олег Держикрач навел мышью на пост Иннокентия Скородума.

«Общественное устройство — как смерть: его можно обсуждать, можно видоизменять, можно принимать или нет, но поделать с ним ничего нельзя. Нам остается лишь перебирать виды казни. Левые знамена прикрывают корысть ничуть не хуже правых идей, а благо нации, если о нем вообще можно говорить, зависит скорее от нравственности правителя, чем от его политических взглядов».

— Обрати внимание, как он завелся, когда ему ничего не ответили. Не привык оставаться без отзывов. Но в группе нет заказных рецензий, и он прокомментировал сам.

«Демократия уповает на выборы. Но все политики принадлежат к узкому слою, корпорации, которая не имеет никакого отношения к толще народа. А его громада живет своей жизнью, которую нельзя ни устроить, ни перевернуть. Есть китайская притча. Будучи в императорском дворце, учитель сказал: “Опытный врач не вмешивается в течение болезни, предоставляя организму самому бороться с ней. Он лишь следит за процессом исцеления. В случае выздоровления он пожинает лавры, в случае смерти, забрав причитающуюся плату, торопливо покидает родственников, принося соболезнования. Неопытный же врач пробует различные лекарства, порошки и чудодейственные мази. Он мучает больного постоянными притираниями, переворачивая в постели, пускает ему кровь. И только вредит.

Так же и опытный правитель предоставляет подданных самим себе, оставляя за ними полную свободу. Он лишь наблюдает, поощряя едва наметившиеся движения, не вмешиваясь в устоявшийся ход вещей. Достижения он по праву ставит себе в заслугу, неудачи списывает на волю богов. В случае общественной катастрофы он благоразумно уходит в отставку, проедая вдали от родины накопленные средства. Неопытный же правитель в своем стремлении улучшить мир принимает самые энергичные меры, лезет из кожи вон, пытаясь повернуть вспять глубинное течение истории. И только все ухудшает”».

Это понравилось Зинаиде Пчель и Сидору Куляшу.

— Забавная история, правда? — разминая длинными пальцами сигарету, сказал Олег Держикрач. — Она говорит, конечно, больше об Иннокентии Скородуме. Как и комментарии.

Ульяна Гроховец:

«Жесть! Сам придумал?»

«Нет, Чао Гунь в восьмом веке. А дальше он рассуждает об истории: “Считать, что известные правители определили ее движение, все равно что предполагать, будто шляпа указывает нам дорогу, а ее перемена говорит о наших мыслях”».

Дама с @:

«От ваших проповедей скулы сводит!»

Афанасий Голохват:

«А другой китаец сказал чтобы найти новый путь надо уйти со старой дороги».

Сидор Куляш:

«И путь этот на Запад».

Иннокентий Скородум:

«А что Запад? Будто там знают, зачем живут».

Зинаида Пчель:

«Не знают зачем, зато знают как».

— Мертвые артефакты. — Олег Держикрач выпустил дым через волосатые ноздри. — Так могли писать и сто лет назад. И двести. Будто говорят между собой идеи, а не личности. А вот эти признания тролля «Последняя инстанция»:

«Старость — это когда все силы уходят на поддержание организма, когда не успеваешь ставить на нем заплаты, а волю приходится собирать в кулак, чтобы стойко, без стонов переносить его постепенное разрушение, когда простейшие вещи, такие как выпить бутылку вина или переспать с женщиной, вырастают в проблему, когда безрезультатное сидение на стульчаке приносит неимоверные муки, заслонив все остальное, а кишечник, мочевой пузырь и желудок ставят в унизительную зависимость».

— Узнаю льва по когтям! — насмешливо сказала Вера Павловна. — Наверняка это старый зануда Иннокентий Скородум.

— А вот и нет, дорогая, это я.

Вера Павловна посмотрела на мужа другими глазами, будто увидела в первый раз. А потом неожиданно улыбнулась:

— Говорю же, не зря ты все это затеял, откуда бы я узнала, что ты уже старичок?

Олег Держикрач улыбнулся.

— А писатель по-своему честен. Вот, обрати внимание.

Иннокентий Скородум:

«Я всю жизнь провозился с книгами, сначала их читал, потом писал. А может, следовало наоборот? Я писал о жизни, и никогда о смерти. Я думал: “Раз ее не избежать, закроем глаза!”. Но значит, я не писал и о жизни!»

— Может быть впервые, он попробовал быть искренним, а как его кусают!

Дама с @:

«Какая трагедия! В детской литературе себя не пробовал?»

Сидор Куляш:

«Конечно, жизнь отвлекает от смерти, и есть шанс, что смерть также отвлечет от жизни».

Он прицепил издевательский смайлик.

— Слушай, они все сумасшедшие! — всплеснула руками Вера Павловна. — От них за версту несет безумием!

— Это было бы еще ничего! Если понимаешь, что безумен, значит, еще жив. Но мне кажется, половина из них мертвые клоны. Например, Афанасий Голохват с его социологическим поносом и пренебрежением к грамматике.

— И чей он клон?

— Сидора Куляша. Его второе «я», компенсирующее социальную зависимость. Нельзя же всерьез представить, что ему нравится его работа на телевидении. Он не настолько самоуверен, чтобы игнорировать отношение к себе в группе, вот и появляется на сцене Афанасий Голохват, который пишет, посмотри:

«Покажи по телевизору обезьяну и на улице у нее станут брать автографы вот где мы живем кругом одноклеточные утрамбованные информационным катком зомби с оштукатуренным сознанием и психологией комнатных собачек».

Олег Держикрач:

«И с волчьей хваткой».

— А ты у меня остроумная, — повернулся к жене Олег Держикрач. — Я бы так не нашелся.

Вера Павловна покраснела.

— И все же странное впечатление оставляет наша переписка. Посмотри, как все связано, прямо божественный промысел!

— Что ты имеешь в виду?

— Ну как же, не напиши Модест Одинаров про свой случай с собачником, не появился бы и Раскольников. Он оставил первый комментарий под сообщением Модеста Одинарова. И не было бы его провокационного розыгрыша, так шокировавшего всех.

— Уверен, что розыгрыша?

— Убежден! А уже позже в группе появился Афанасий Голохват, почувствовавший в Раскольникове родственную душу. Если допустить все же, что это отдельный человек, а не клон Сидора Куляша. Видишь, одно загадочным образом цепляет другое.

— Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.

— Мы никогда не узнаем и как оно отозвалось.

— В каждом сердце по-своему. А сколько их в группе!

— А знаешь, мне иногда кажется, что это один человек. — Олег Держикрач опять посмотрел на жену, точно оценивая, не примут ли его за сумасшедшего. — Как и по свету бродит один вечный Адам, под разными именами.

Вера Павловна обняла мужа.

— Адам и Ева. По свету бродят двое.

— Да, дорогая, встретить свою половину — это и есть наше предназначение, в этом и состоит

СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Душным августовским вечером за тысячи километров от супругов Держикрач перечитывала сообщения в группе Полина Траговец. Вспоминая Модеста Одинарова и покойную мать, она в который раз спрашивала себя, почему, вместо того чтобы устраивать жизнь, проводит ее в Интернете. Полина вдруг осознала, что, выводя на сцену Ульяну Гроховец с ее картонно жизнелюбивыми постами, она объявила войну своему прошлому, которую безнадежно проиграла. Ей уже не нравилась и затея с Модэстом Одинаровым, который должен был заменить умершего жильца с верхнего этажа, теперь она по-другому смотрела на его историю с собачником. Полине не было его жалко. Одинаров виделся ей холодным черствым эгоистом, так и не повзрослевшим ребенком, забившимся под крышу, откуда с испугом глядел на мир. «Что жил, что не жил», — вздохнула Полина Траговец, подумав, что Одинаров сам виноват в своих несчастьях и что она очень на него похожа. Разве она уже давно не разошлась жизнью? Разве жизнь не была отдельно, а она отдельно? Полина возвращалась к годам, проведенным с матерью, которые носила, как платья из одного пыльного гардероба, и не понимала, кто уготовил ей такую судьбу. Почему ей только в интернете достало решимости стать Ульяной Гроховец? Разве она не достойна большего?

Полина медленно перечитывала комментарии, следы умерших страстей, которые издалека казались немного наивными и совершенно не трогали. Даже переполох, вызванный историей Раскольникова, выглядел смешным, будто бросили камень в курятник. «Сколько времени зря потратила, — подумала она. — Надо жить в домах и городах, а не в социальных сетях». Она вдруг поняла, что образ Ульяны Гроховец, нарисованный ей подсознанием, вполне можно примерить и в реальной жизни. Только для этого необходимо уйти из Сети, чтобы не тратить все силы на виртуальное представление, чтобы весь пар не уходил в гудок. Полина так долго вглядывалась в старые сообщения, что буквы перед глазами стали сливаться, кружась, как рой пчел, они уже не складывались в нечто осмысленное. «Вот она, правда, — подумалось ей. — Ничего-то за ними не стоит, одна пустота». В приступе решимости она отменила подписку на сообщения в группе. Посидев с полчаса, она почувствовала, что отрезала часть жизни. Тогда, не удовлетворившись содеянным, она решила сжечь мосты и выбрала в меню опцию «Покинуть группу». Перед тем как с ней проститься, Полина выставила напоследок от Модэста Одинарова открытку с котятами.

«Какие милые!» — написала ей Дама с @.

«Очаровашки! — согласилась Ульяна Гроховец. — Их непосредственность поражает, будто

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР

В квартире было душно, и в августовском солнце, пробивавшем шторы, блестела медленно кружившая пыль.

— Вставай, уже много времени, — воскресным утром похлопала по одеялу жена Сидора Куляша.

— Времени много не бывает, — донеслось оттуда. — Его, как денег, всегда мало.

Огрызнувшись, Сидор Куляш продолжал лежать в темноте с открытыми глазами. Он вспоминал историю Раскольникова, свой репортаж о нем и то, какое впечатление произвел в группе. «Плевать, — успокаивал он себя. — Пусть думают, что хотят». Но ему было непривычно стыдно. Перед ним прошла вся его деятельность на канале — многочисленные интервью со знаменитостями, недостойными своей славы, опрос общественного мнения, которые вдруг напомнили ему детскую игру, когда, загадав желания, спрашивали: «В каком ухе звенит?» и, не дожидаясь, сами отвечали: «Правильно, в левом!», у него всплыли передачи, в которых черное по заказу белело, а белое — чернело, то есть все то, что носит благопристойное имя «политика».

— Если не мы, то другие, — подстегивало руководство.

— Лучше мы, — соглашался он. — Потому что мы лучше.

А теперь он всерьез задумался об ответственности, которую нес, оккупируя чужое сознание, то, о чем сам много раз говорил вслух и над чем в глубине души смеялся. Что он проповедовал? За что ратовал? Разве ему нравилось то, чем он занимался? «Будешь потреблять — будешь потреблядь!» — стучало у него в голове, он ворочался с боку на бок, и ему не хотелось вылезать из-под одеяла.

— Надо менять работу, — беззвучно шевелил он губами. — Иначе работа поменяет тебя.

Сидор Куляш лежал в слепящей тьме и чувствовал себя постаревшим на десять лет.

Он опять и опять вспоминал интернет-группу. «И черт меня дернул, — думал он. — Они все живут по тем же законам. Что, мне больше других надо? Кому я доказываю?» Не вылезая из-под одеяла, Сидор Куляш со всей силы врезал кулаком по подушке. Он вдруг живо представил заболевшего Модеста Одинарова, для которого начался обратный отсчет, мысленно примерив его судьбу. «И все приговоренные, — написал он ему тогда. — Считать дни от рождения или до смерти — не все ли равно?» Ему казалось, что эти отвлеченные рассуждения помогут Одинарову, который был для него лишь пользователем Сети, а теперь, вспомнив свой пост, Сидор Куляш застонал. От охватившего его глубокого отвращения к себе он снова ударил подушку.

— Боже, как я мог, как я мог… — шептал он. — Надо все срочно менять.

Что именно надо менять, Сидор Куляш не осознавал, как не представлял, каким образом сложится его дальнейшая жизнь. Он думал о том, что на дворе воскресенье, и видел в этом знак. Накануне, мучаясь бессонницей, он взял с полки первую попавшуюся книгу, ею оказался роман Толстого «Воскресение», и теперь Сидор Куляш отождествлял себя с ее главным героем.

Жена открыла на кухне форточку, устроив сквозняк.

— Будешь завтракать?

Зажмурившись, Сидор Куляш на мгновенье снова погрузился в детство, когда бегал по берегу застывшего, никуда не звавшего моря, разделяя одиночество со стайками золотистых рыбок, пока мать скользила по нему равнодушным взглядом, и подумал, что так никуда и не делся с того пустынного, пахшего тиной пляжа.

Под одеялом становилось жарко, по его жирному телу лился пот.

— Будешь завтракать? — снова позвала жена.

— С тобой — всегда! — вскочил Сидор Куляш так резко, что у него закружилась голова.

Он вдруг понял, что у него больше никого нет, кроме этой располневшей нелюбимой женщины, с которой придется делить остаток дней. «И это хорошо, — уверенно проговорил он про себя. — Слава богу, что так, могло быть и хуже».

Прежде чем сесть за стол, Сидор Куляш дал себе слово больше никогда не появляться в группе, которая оставалась к нему равнодушной, как

НЕЗНАКОМКА

Лето уже показало спину, и осень стреляла грозами из желтого пистолета. С уходом Даши Авдей Каллистратов одичал. Вставал он все позже, когда солнце уже проходило зенит, а бриться перестал, отпустив бороду, делавшую его похожим на Черномора. Время Авдей Каллистратов проводил в бесцельной маете, вышагивая по квартире, пересыпал из пустого в порожнее песок прошедшего, в котором вместе с ошибками были похоронены последние надежды, и ему казалось, что жизнь, как незнакомка со страусовыми перьями над темной вуалью, промелькнула за окном, пока он сидел в грязном, прокуренном трактире.

В последний месяц у Авдея Каллистратова все чаще открывался космический взгляд на мир, когда вещи, события и собственная жизнь кажутся ничтожными и случайными, как пыль на окне. Эти мысли о всеобщей бренности заставляли впасть в тупое оцепенение. Вместе с тем, глядя на полки с классикой, он сгорал от зависти. Это его удивляло. Он не мог понять, как могут в нем уживаться столь противоречивые чувства. Чтобы разобраться в этом, Авдей Каллистратов завел дневник, но, открывая его по нескольку раз в день, заносил на его холодные, равнодушные, как Вселенная, страницы, всего одно слово: «Графоман». Так проходила неделя за неделей, а в те редкие дни, когда он выбирался на презентацию чьей-нибудь книги, Авдей Каллистратов был раздражителен и несдержан.

— У вас легкий стиль, — отпускали ему обычный комплимент.

— Легко читать, легко забывать, — скрипел он зубами. — Одним словом, легче пустоты.

Он тряс бородой и делал такое лицо, что его стали сторониться. Очень скоро Авдей Каллистратов обрел репутацию неприкасаемого, которого выбросили из литературных кругов, предав страшнейшей из анафем — забвению.

В интернет-переписке Авдей Каллистратов окончательно разочаровался. Зачем она? Он не был на сайте с месяц, и никто не поинтересовался почему. Сбей его завтра машина, попади он в тюрьму или больницу — никто там не обратит внимания. Теперь Авдею Каллистратову казались мальчишескими его посты, перечитывая, он хотел их убрать, уничтожить, как иногда хотелось ему сжечь свои книги, когда он, приходя в гости, случайно брал их с полки. Он больше не верил, что кого-то хоть в чем-нибудь можно убедить.

Наткнувшись на сообщения Афанасия Голохвата, где тот проповедовал битву за новый прекрасный мир, он тут же сочинил ему ответ: «Пройдут годы, и люди сделаются тебе скучны, ты будешь смотреть на них с колокольни своего возраста, как университетский выпускник смотрит на абитуриентов, ясно представляя, через что им предстоит пройти, чтобы остаться потом у разбитого корыта. Ты увидишь, что цивилизация находится в стадии зародыша, а твое время такое же темное, как и раннее Средневековье, которое по вселенской шкале словно вчера стояло у порога. Или ты сомневаешься, что Средневековье прислонилось к нашему изголовью? Пройдут годы, и ты поймешь, что мир устроен неправильно, но поделать с этим ничего нельзя, а требовать от него благоразумия — все равно, что от младенца — не мочить пеленок».

Сначала Авдей Каллистратов хотел это разместить, но потом передумал, решив, что его мысли не стоят двух кликов мыши. Разве другого можно научить? Разве опыт передается? Ему сделалось неловко за свою горячность, он скривился, не в силах понять, как и, главное, зачем вступал в перепалку с Сидором Куляшом. Он впервые подумал, что спорил с клоном. Разве человек может быть таким? Разве может так думать? Ну конечно его разыгрывали, дразня, как лягушку, в которую тычут камышинкой! А он, старый дурак, поддался! Авдей Каллистратов усмехнулся и, нацепив очки, стал разбираться, как ему выйти из группы. От этого занятия его оторвал звонок в дверь.

— Почему так долго не открывал? — с порога бросила Даша.

Она стряхивала мокрый зонт, и с ее волос лились ручьи.

Авдей Каллистратов не успел удивиться.

— А разве у тебя нет ключей?

— Ты не давал.

— Неужели я был таким идиотом? Они на полке. А твоя собачка?

— Я оставила ее внизу. Она, как ревматизм, лизала пятки, а кусала сердце. Так ты пустишь?

Авдей Каллистратов снял с Даши пальто.

— Кстати, там же, на полке, обручальное кольцо. Примеришь?

Даша подошла к шкафу.

— Но тут нет никакого кольца.

— Черт! Завтра куплю. Подождешь?

Даша чихнула.

— Конечно. А иначе зачем я пришла.

У Авдея Каллистратова навернулась слеза. Он пошел в ванную и сбрил бороду.

А на другой день солнце играло на посуде, пуская по стенам «зайчиков». Авдей Каллистратов точно сбросил за ночь десять лет. Он без умолку болтал, намазывая бутерброд, и то и дело подливал Даше горячий чай.

— Знаешь, ты открылась для меня с неожиданной стороны, прекрасная незнакомка. Ты еще на кафедре?

— Я оттуда ушла, когда поняла, что современная литература не имеет никакого отношения к литературе.

Авдей Каллистратов расхохотался.

— А классика?

— Что классика?

— Классика имеет? Нет, дорогая, половина ее выросла из макулатуры.

Глаза у Даши сузились:

— А ты?

— В первую очередь.

Авдей Каллистратов смотрел ей прямо в глаза, и ему было легко, как человеку, говорившему правду. Встав из-за стола, он принес ноутбук, развернув к Даше.

— А разве ты не читала вот это? — щелкнул он мышью.

«“Музыкант играет на инструменте, а для писателя такой инструмент — язык, — оправдывал я себя. — Поэтому не стоит в художественных сочинениях искать глубину, они всего лишь приятны для слуха и призваны развлечь”. Однако у меня все чаще возникал вопрос: “Зачем увеличивать вавилонскую башню макулатуры?”. И вопрос этот сводил меня с ума».

— Я читала этот пост, но его писал Иннокентий Скородум, а мне хотелось услышать Авдея Каллистратова.

— Надеюсь, теперь ты довольна.

Он закрыл ноутбук.

— Кстати, ты еще бываешь в группе?

— Нет, оттуда почти все разбежались.

— Да? Может, и к лучшему. Это был кусок жизни, который закончился.

— Мне немного грустно.

— Жаль расставаться? Как с актерами, когда падает занавес?

Облокотившись о стол, Авдей Каллистратов вдруг задумался.

— Что с тобой?

— Да так, поймал себя на мысли, что тоже к ним привык. А знаешь, я хочу написать о них роман.

— Роман в социальных сетях?

— Что-то вроде этого. Может, тогда мы узнаем их ближе.

— В каком смысле?

— Ну как же, сейчас мы даже пол их не можем определить. Может, за мужским ником кроется женщина.

— Как Саша Гребенча?

— Или любой другой. А представь, что у тебя в руках книга, где они представляют собой ряд персонажей. Тогда ты уподобляешься Богу, которому ведомо про каждого все. А что могут знать персонажи? Они всегда осведомлены меньше автора…

Даша облизнула губы.

— А в твоей книге судеб будут наши?

— Конечно. Но она открыта только для читателя, а каждому из нас отводится в ней отдельная глава, потому что постижима лишь собственная судьба. Да и то задним числом. Я задумал написать этот роман на даче. Поедем весной?

Даша кивнула. Авдей Каллистратов нежно взял ее за подбородок.

— Я тебя очень люблю, и почему я так долго этого не понимал?

— Дурачок, свой будущий роман опубликуй под псевдонимом Иннокентий Тугодум.

— Наш, Дама с @, наш. Потому что в нем мы вместе будем перебирать

БЫЛОЕ И ДУМЫ

В последнее августовское воскресенье Саша Гребенча изменил своему слову не курить натощак. Вчера он долго сочинял письмо, в котором предложил сыну встретиться, прождал всю ночь, то и дело заглядывая в почту, но ответа не получил. Заснул он только под утро, во сне горько плакал, оставляя вмятины на мокрой от слез подушке, а поднявшись, чувствовал себя разбитым и опустошенным. Открыв сайт группы, Саша Гребенча увидел незаполненное поле: «О чем вы думаете?». Оно приглашало вылить накопившуюся желчь, и Саша Гребенча написал:

«Я думаю, что Земля для каждого пуста. И действительно, о ком мы думаем? С кем связаны? Скольких держим в голове? Не все ли нам равно, как живут в Китае или Папуа? И живут ли там вообще? А в соседнем городе? Улице? Доме? Опустей Земля завтра, засели ее другими народами — мы не заметим! Потому что каждый из нас живет на ней, как Робинзон на своем острове».

Читать комментарии Саше Гребенче не хотелось, их все равно оставят незнакомые, чужие люди, а того, кого он ждет, не будет. «Эх, Афанасий, Афанасий, — подумал он, — без тебя весь интернет пуст». Отвернувшись от монитора, он уставился в стену, где в разводах на обоях ему мерещились картины о возвращении блудного отца. В саду уже догнивали на земле яблоки, ядовито краснели мухоморы, а на заголившейся ветке надрывно трещала сорока. Взяв грабли, Саша Гребенча сгреб жухлую листву и, обложив ее горку старыми газетами, поджег. От дыма у него защипало глаза, и он тер их, оставляя на щеках сажу. Неожиданно нахлынуло былое, в памяти у него всплыли лица, которые он видел на своем веку — растерянное лицо отца, похожие на маски лица пьяниц, игравших во дворе в домино, пылавшее негодованием лицо сына, и он вдруг осознал, кто такой человек. «Человек, — громко произнес он. — Человек!» Вернувшись под крышу, Саша Гребенча еще раз прочитал свой пост и, подтверждая его, навсегда покинул группу, как в свое время уехал из квартиры на втором этаже, откуда наблюдал жизнь огромного кирпичного дома, с жильцами которого был

НА НОЖАХ

Афанасий Голохват не ответил на письмо отца, потому что был занят очень важным делом: он думал.

«Государство, общественное устройство — это дерьмо, которое не стоит трогать, — прочитал он пост Иннокентия Скородума. — Конфетки не выйдет, а вони не оберешься».

Афанасий Голохват тер виски — за все время его протестной деятельности такие мысли ему не приходили. Он видел, что в группе давно смирились с царившей вокруг несправедливостью, приспособившись настолько, что совсем не хотят ее менять. Обыватели? Мещане? Но это и есть народ! Так стоит ли давать ему иное устройство?

«Народ достоин лучшего», — сделал он последнюю попытку, в которой сам не чувствовал убедительности.

«Чтобы это лучшее снова обгадить», — врезал ему Иннокентий Скородум.

Афанасий Голохват чувствовал, что стучится в закрытую дверь. Он вдруг понял, что его занятие никому не нужно, а люди приспосабливаются ко всему, кроме перемен. Даже здесь, в группе, он хотел доказать свою правду, переделать, перековать ее членов, но вынужден был признать, что переделали его самого, посеяв сомнения, камня на камне не оставив от былой уверенности и задора. «Болото всех засасывает», — оправдывал он себя, но от этого было не легче.

«Масса живет сама по себе, ею правит темная, слепая воля, — точно услышав его мысли, написал Никита Мозырь. — Эта ее программа, которую она сама осознать не в силах, но которая ею движет».

«Бросьте философствовать, — ухмыльнулся ему смайликом Иннокентий Скородум. — Масса живет, как ей сверху предпишут, сегодня по одним законам, завтра — по другим. А менять их бесполезно, ничего хорошего все равно не выйдет. Двое зашли в лес, а впереди болото. Один сразу повернул назад, а другой прежде весь вымазался и тоже вернулся. Кто же из них умнее?»

«Второй, — огрызнулся Афанасий Голохват. — Он хотя бы попробовал».

Он воткнул в уши плеер, пройдя на цыпочках мимо дремавшей консьержки, как обычно видевшей во сне зеленый лес, выскочил на бульвар, где совсем недавно шел восторженный, возвращаясь с «квартирника», и где еще раньше кормил голубей Модест Одинаров. «Какая революция? — смотрел он по сторонам на матерей с колясками и старика на лавочке, упиравшегося подбородком в трость. — Даже в группе не вышло, чего уж говорить». Сунув руки в карманы джинсов, хотя было совсем не холодно, Афанасий Голохват шагал по бульвару и думал, как дальше жить. «Может, он не так уж и не прав», — впервые без злости подумал он об отце, вспомнив его короткое, в одну строчку письмо: «Каждый человек — один на свете». Афанасий Голохват пообещал себе как можно скорее написать отцу, но в группу, где со всеми переругался, твердо решил больше не возвращаться.

— Куда прешь! — грубо толкнули его.

Афанасий Голохват не ответил. Он посмотрел по сторонам, по-иному увидев встречавшихся ему прохожих, их изможденные лица, опущенные плечи, и, сострадая, вздохнул: — Бедные,

БЕДНЫЕ ЛЮДИ

Шел мелкий, противный дождь, когда Зинаиде Пчель исполнилось столько лет, что скрывать возраст стало уже бесполезно, и она из бесконечной дали посматривала на Степаниду и Аделаиду, которым не было и года. Невидимые, они сидели с ней за столом, образовав равносторонний треугольник, в центре которого было одиночество. «Мно-огая ле-ета, — запела Зинаида Пчель, задувая торт с бессчетным количеством свечей. — Пора на пенсию». Задуть все свечи ей не удалось, и последние она потушила слезами, вспоминая свою девичью косу, несбывшиеся мечтания и несостоявшееся замужество. «Школа проклятая, — повторяла она. — Всю жизнь сгубила». И тут вспомнила пост Никиты Мозыря: «А читать учат, чтобы легче обмануть. Неграмотному надо пощупать, а ученому напиши: “в результате выборов победил такой-то” — верит! это лекарство спасет от всех болезней — опять верит!». Тогда ее страшно возмутило это пренебрежение к образованию, а теперь она улыбнулась и, протерев глаза фартуком, потянулась за ложкой. Как и многим женщинам, Зинаиде Пчель от всех бед помогало сладкое. Доев торт, размокший от соленых слез, она совершенно успокоилась. И одновременно с последним исчезнувшим куском приняла решение. «Самое время отрезать прошлое, — тихо улыбнулась она стульям, на которых должны были сидеть Степанида и Аделаида. — Жаль вас, кумушки, но пора начинать с чистого листа». Зинаида Пчель включила компьютер, зашла как администратор на сайт группы и, все так же тихо улыбаясь, уничтожила на нем все свои записи. Вместо них она отправила прощальный смайлик, выбрав для него

КРАСНЫЙ ЦВЕТОК

Осень. Падают желтые листья, и по клавиатуре стучит одиночество.

«Может, мы осколки какого-то разбитого сосуда? — безысходно вопрошал Никита Мозырь. — Нас больше не собрать воедино, не склеить. Это на Ноевом ковчеге были все вместе, теперь каждый сам по себе. Почему? Болен мой город? Рушится страна? Гибнет мир? Может, потому мы, как песчинки, и исчезаем поодиночке, что не в силах собрать мозаику? Зачем Вселенной наша цивилизация, такая же холодная, как космос?»

Никита Мозырь поместил сообщение, зная, что ему не ответят: в группе он остался один и чувствовал себя, как Лазарь, вернувшийся с того света.

Через неделю он сделал еще одну попытку. Заглянув в календарь, поздравил с днем рождения Модеста Одинарова. «Мы оба Скорпионы, — добавил он. — А это знак одиночества».

Прошел месяц, в воздухе уже кружили белые мухи, когда его стали одолевать сомнения. Ему стало казаться, что его обманули, бросили, а группу создал один человек, чтобы упиваться над ним властью. Может, за ней стоит Олег Держикрач? Зачем при прощании в больнице он дал ее адрес? А вдруг вся группа — простой симулякр? Эти мысли были невыносимы. Никита Мозырь был хорошим программистом, и ему понадобилось меньше суток, чтобы взломать сайт. Он долго ходил по его мертвым руинам, убедившись, что Модест Одинаров давно умер, а Ульяна Гроховец, как и Зинаида Пчель, завела клона. Он увидел также, что не ошибся — группу действительно создал Олег Держикрач. «Как Бог Вселенную, — хмыкнул Никита Мозырь. — Хотел упиваться властью, а потом устранился, испугавшись ответственности». В больном воображении Никиты психиатр рисовался злым гением, расставившим ловушку, попавшие в которую навсегда исчезают. Группа представлялась ему ядовитым красным цветком, хищным плотоядным растением, на обманчивый запах которого, как насекомые, слетаются ничего не подозревавшие люди, чтобы раствориться в ее зеве. И тогда он посчитал себя обязанным смять, уничтожить, разорвать это воплощенное зло. В минуту просветления он видел, что ошибается, что эта группа ничем не отличается от миллиона других, а он остался в ней один по вполне объективным причинам, что распадаться — удел всех виртуальных коллективов. Но его сознание все плотнее обволакивала тьма безумия, такие мгновенья случались все реже, и мысли, приходившие тогда, казались ему тоже внушенными злом.

Группа уже казалась ему чудовищем, страшной, черной дырой, поглотившей своих членов. Куда они делись? Никита Мозырь не разделял бытия и виртуальной реальности. Они выпали из последней, но со всеми кроме Олега Держикрача он там и познакомился, и они существовали для него только в этом условном мире. А теперь пропали. Все равно что сгинули, умерли. Или были убиты? А будущие жертвы? В его воспаленном мозгу группа иногда представлялась самой жизнью, беспощадно уничтожающей свои создания, будто мальчишка, на ходу сбивающий палкой маковые головки. «Жизнь идет, обрывая жизни, — поделился он в группе своим открытием. — Жизнь идет мимо каждого, она, как река, течет за счет вытекших в нее жизней. Попасть в нее — как на бойню».

Это был последний пост в группе.

Никита Мозырь целый месяц не выходил из квартиры. Он не отвечал на звонки, и соседи вызвали врачей. Когда дверь взломали, то увидели, что он страшно исхудал, и его голое тело выглядело на постели, как мумия. Желтое лицо его совершенно обросло, но в свалявшихся волосах, как угольки, блестели глаза. Когда его переложили на носилки, Никита Мозырь улыбнулся: он был счастлив от того, что уничтожил интернет-группу, которая обнажала одиночество, умножая скорбь и страдания.

*Апрель — декабрь 2012*